



Иван Гончаров

Обрыв

«Public Domain»

1869

Гончаров И. А.

Обрыв / И. А. Гончаров — «Public Domain», 1869

«Обрыв». Классика русской реалистической литературы, ценимая современниками так же, как «Накануне» и «Дворянское гнездо» И.С. Тургенева. Блестящий образец психологической прозы, рисующий общее в частном и создающий на основе глубоко личной истории подлинную картину идей и нравов интеллектуально-дворянской России переломной эпохи середины XIX века.

© Гончаров И. А., 1869

© Public Domain, 1869

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	11
III	14
IV	17
V	26
VI	29
VII	39
VIII	43
IX	46
X	48
XI	53
XII	57
XIII	60
XIV	64
XV	72
XVI	80
XVII	84
XVIII	89
Часть вторая	100
I	100
II	105
III	114
IV	119
V	123
Конец ознакомительного фрагмента.	124

Часть первая

I

Два господина сидели в небрежно убранной квартире в Петербурге, на одной из больших улиц. Одному было около тридцати пяти, а другому около сорока пяти лет.

Первый был Борис Павлович Райский, второй – Иван Иванович Аянов.

У Бориса Павловича была живая, чрезвычайно подвижная физиономия. С первого взгляда он казался моложе своих лет: большой белый лоб блистал свежестью, глаза менялись, то загорались мыслию, чувством, веселостью, то задумывались мечтательно, и тогда казались молодыми, почти юношескими. Иногда же смотрели они зрело, устало, скучно и обличали возраст своего хозяина. Около глаз собирались даже три легкие морщины, эти неизгладимые знаки времени и опыта. Гладкие черные волосы падали на затылок и на уши, а в висках серебрилось несколько белых волос. Щеки, так же как и лоб, около глаз и рта сохраняли еще молодые цвета, но у висков и около подбородка цвет был изжелта-смугловатый.

Вообще легко можно было угадать по лицу ту пору жизни, когда совершилась уже борьба молодости со зрелостью, когда человек перешел на вторую половину жизни, когда каждый прожитой опыт, чувство, болезнь оставляют след. Только рот его сохранял, в неуловимой игре тонких губ и в улыбке, молодое, свежее, иногда почти детское выражение.

Райский одет был в домашнее серенькое пальто, сидел с ногами на диване.

Иван Иванович был, напротив, в черном фраке. Белые перчатки и шляпа лежали около него на столе. У него лицо отличалось спокойствием или скорее равнодушным ожиданием ко всему, что может около него происходить.

Смышленный взгляд, неглупые губы, смугло-желтоватый цвет лица, красиво подстриженные, с сильной проседью, волосы на голове и бакенбардах, умеренные движения, сдержанная речь и безукоризненный костюм – вот его наружный портрет.

На лице его можно было прочесть покойную уверенность в себе и понимание других, выглядывавшие из глаз. «Пожил человек, знает жизнь и людей», – скажет о нем наблюдатель, и если не отнесет его к разряду особенных, высших натур, то еще менее к разряду натур наивных.

Это был представитель большинства уроженцев универсального Петербурга и вместе то, что называют светским человеком. Он принадлежал Петербургу и свету, и его трудно было бы представить себе где-нибудь в другом городе, кроме Петербурга, и в другой сфере, кроме света, то есть известного высшего слоя петербургского населения, хотя у него есть и служба, и свои дела, но его чаще всего встречаешь в большей части гостиных, утром – с визитами, на обедах, на вечерах: на последних всегда за картами. Он – так себе: ни характер, ни бесхарактерность, ни знание, ни невежество, ни убеждение, ни скептицизм.

Незнание или отсутствие убеждения облечено у него в форму какого-то легкого, поверхностного всеотрицания: он относился ко всему небрежно, ни перед чем искренно не склоняясь, ничему глубоко не веря и ни к чему особенно не пристращаясь. Немного насмешлив, скептичен, равнодушен и ровен в сношениях со всеми, не даря никого постоянной и глубокой дружбой, но и не преследуя никого настойчивой враждой.

Он родился, учился, вырос и дожил до старости в Петербурге, не выезжая далее Лахты и Ораниенбаума с одной, Токсова и Средней Рогатки с другой стороны. От этого в нем отражались, как солнце в капле, весь петербургский мир, вся петербургская практичность, нравы, тон, природа, служба – эта вторая петербургская природа, и более ничего.

На всякую другую жизнь у него не было никакого взгляда, никаких понятий, кроме тех, какие дают свои и иностранные газеты. Петербургские страсти, петербургский взгляд, петербургский годовой обиход пороков и добродетелей, мыслей, дел, политики и даже, пожалуй, поэзии – вот где вращалась жизнь его, и он не порывался из этого круга, находя в нем полное до роскоши удовлетворение своей натуре.

Он равнодушно смотрел сорок лет сряду, как с каждой весной отплывали за границу битком набитые пароходы, уезжали внутрь России дилижансы, впоследствии вагоны, – как двигались толпы людей «с наивным настроением» дышать другим воздухом, освежаться, искать впечатлений и развлечений.

Никогда не чувствовал он подобной потребности, да и в других не признавал ее, а глядел на них, на этих других, покойно, равнодушно, с весьма приличным выражением в лице и взглядом, говорившим: «Пусть-де их себе, а я не поеду».

Он говорил просто, свободно переходя от предмета к предмету, всегда знал обо всем, что делается в мире, в свете и в городе; следил за подробностями войны, если была война, узнавал равнодушно о перемене английского или французского министерства, читал последнюю речь в парламенте и во французской палате депутатов, всегда знал о новой пьесе и о том, кого зарезали ночью на Выборгской стороне. Знал генеалогию, состояние дел и имений и скандальную хронику каждого большого дома столицы; знал всякую минуту, что делается в администрации, о переменах, повышениях, наградах, – знал и сплетни городские: словом, знал хорошо свой мир.

Утро уходило у него на мыканье по свету, то есть по гостиним, отчасти на дела и службу, – вечер нередко он начинал спектаклем, а кончал всегда картами в Английском клубе или у знакомых, а знакомы ему были все.

В карты играл он без ошибки и имел репутацию приятного игрока, потому что был снисходителен к ошибкам других, никогда не сердился, а глядел на ошибку с таким же приличием, как на отличный ход. Потом он играл и по большой, и по маленькой, и с крупными игроками, и с капризными дамами.

Строевую службу он прошел хорошо, протерши лямку около пятнадцати лет в канцеляриях, в должностях исполнителя чужих проектов. Он тонко угадывал мысль начальника, разделял его взгляд на дело и ловко излагал на бумаге разные проекты. Менялся начальник, а с ним и взгляд, и проект: Аянов работал так же умно и ловко и с новым начальником, над новым проектом – и докладные записки его нравились всем министрам, при которых он служил.

Теперь он состоял при одном из них по особым поручениям. По утрам являлся к нему в кабинет, потом к жене его в гостиную и действительно исполнял некоторые ее поручения, а по вечерам в положенные дни непременно составлял партию, с кем попросят. У него был довольно крупный чин и оклад – и никакого дела.

Если позволено проникать в чужую душу, то в душе Ивана Ивановича не было никакого мрака, никаких тайн, ничего загадочного впереди, и сами макбетовские ведьмы затруднились бы обольстить его каким-нибудь более блестящим жребием или отнять у него тот, к которому он шествовал так сознательно и достойно. Повиситься из статских в действительные статские, а под конец, за долговременную и полезную службу и «неусыпные труды», как по службе, так и в картах, – в тайные советники, и бросить якорь в порте, в какой-нибудь нетленной комиссии или в комитете, с сохранением окладов, – а там, волнуйся себе человеческий океан, меняйся век, лети в пучину судьба народов, царств, – все пролетит мимо его, пока апоплексический или другой удар не остановит течение его жизни.

Аянов был женат, овдовел и имел двенадцати лет дочь, воспитывавшуюся на казенный счет в институте, а он, устроив свои делишки, вел покойную и беззаботную жизнь старого холостяка.

Одно только нарушало его спокойствие – это геморрой от сидячей жизни; в перспективе представлялось для него тревожное событие – прервать на время эту жизнь и побывать где-нибудь на водах. Так грозил ему доктор.

– Не пора ли одеваться: четверть пятого! – сказал Аянов.

– Да, пора, – отвечал Райский, очнувшись от задумчивости.

– О чем ты задумался? – спросил Аянов.

– О ком? – поправил Райский. – Да о ней все... о Софье...

– Опять! Ну! – заметил Аянов.

Райский стал одеваться.

– Ты не скучаешь, что я тебя туда таскаю? – спросил Райский.

– Нимало: не все равно играть, что там, что у Ивлевых? Оно, правда, совестно немного обыгрывать старух: Анна Васильевна бьет карты своего партнера сослепа, а Надежда Васильевна вслух говорит, с чего пойдет.

– Не беспокойся, не оберешь по пяти копеек. У обеих старух до шестидесяти тысяч дохода.

– Знаю, и это все Софье Николаевне достанется?

– Ей: она родная племянница. Да когда еще достанется! Они скупы, переживут ее.

– У отца ведь, кажется, немного...

– Нет, все спустил.

– Да куда он тратит? В карты почти не играет.

– Как куда? А женщины? А эта беготня, *petits soupers*,¹ весь этот *train*?² Зимой в пять тысяч сервиз подарил на вечер *Armance*, а она его-то и забыла пригласить к ужину...

– Да, да, слышал. За что? Что он у ней там делает!..

Оба засмеялись.

– От мужа у Софьи Николаевны, кажется, тоже немного осталось!

– Нет, тысяч семь дохода; это ее карманные деньги. А то все от теток. Но пора! – сказал Райский. – Мне хочется до обеда еще по Невскому пройтись.

Аянов и Райский пошли по улице, кивая, раскланиваясь и пожимая руки направо и налево.

– Долго ты нынче просидишь у Беловодовой?

– Пока не выгонят – как обыкновенно. А что, скучно?

– Нет, я думал, поспею ли я к Ивлевым? Мне скучно не бывает...

– Счастливый человек! – с завистью сказал Райский. – Если б не было на свете скуки! Может ли быть лютее бича?

– Молчи, пожалуйста! – с суеверным страхом остановил его Аянов, – еще накличешь что-нибудь! А у меня один геморрой чего-нибудь да стоит! Доктора только и знают, что вон отсюда шлют: далась им эта сидячая жизнь – все беды в ней видят! Да воздух еще: чего лучше этого воздуха? – Он с удовольствием нюхнул воздух. – Я теперь выбрал подорожее эскулапа: тот хочет летом кислым молоком лечить меня: у меня ведь закрытый... ты знаешь? Так ты от скуки ходишь к своей кухне?

– Какой вопрос: разумеется! Разве ты не от скуки садишься за карты? Все от скуки спасаются, как от чумы.

– Какое же ты жалкое лекарство выбрал от скуки – переливать из пустого в порожнее с женщиной: каждый день одно и то же!

– А в картах разве не одно и то же? А вот ты прячешься в них от скуки...

¹ интимные ужины (*фр.*).

² образ жизни (*фр.*).

– Ну, нет, не одно и то же: какой-то англичанин вывел комбинацию, что одна и та же сдача карт может повториться лет в тысячу только... А шансы? А характеры игроков, манера каждого, ошибки!.. Не одно и то же! А вот с женщиной биться зиму и весну! Сегодня, завтра... вот этого я не понимаю!

– Ты не понимаешь красоты: что же делать с этим? Другой не понимает музыки, третий живописи: это неразвитость своего рода...

– Да, именно – своего рода. Вон у меня в отделении служил помощником Иван Петрович: тот ни одной чиновнице, ни одной горничной проходу не дает, то есть красивой, конечно. Всем говорит любезности, подносит конфеты, букеты: он развит, что ли?

– Оставим этот разговор, – сказал Райский, – а то опять оба на стену полезем, чуть не до драки. Я не понимаю твоих карт, и ты вправе назвать меня невеждой. Не суйся же и ты судить и рядить о красоте. Всякий по-своему наслаждается и картиной, и статуей, и живой красотой женщины: твой Иван Петрович так, я иначе, а ты никак, – ну, и при тебе!

– Ты играешь с женщинами, как я вижу, – сказал Аянов.

– Ну, играю, и что же? Ты тоже играешь и обыгрываешь почти всегда, а я всегда проигрываю... Что же тут дурного?

– Да, Софья Николаевна красавица, да еще богатая невеста: женись, и конец всему.

– Да – и конец всему, и начало скуке! – задумчиво повторил Райский. – А я не хочу конца! Успокойся, за меня бы ее и не отдали!

– Тогда, по-моему, и ходить незачем. Ты просто – Дон-Жуан!

– Да, Дон-Жуан, пустой человек: так, что ли, по-вашему?

– А как же: что ж он, по-твоему?

– Ну, так и Байрон, и Гете, и куча живописцев, скульпторов – все были пустые люди...

– Да ты – Байрон или Гете, что ли!..

Райский с досадой отвернулся от него.

– Донжуанизм – то же в людском роде, что донкихотство; еще глубже; эта потребность еще приращеннее... – сказал он.

– Коли потребность – так женись... я тебе говорю...

– Ах! – почти с отчаянием произнес Райский. – Ведь жениться можно один, два, три раза: ужели я не могу наслаждаться красотой так, как бы наслаждался красотой в статуе? Дон-Жуан наслаждался прежде всего эстетически этой потребностью, но грубо; сын своего века, воспитания, нравов, он увлекался за пределы этого поклонения – вот и все. Да что толковать с тобой!

– Коли не жениться, так незачем и ходить, – апатично повторил Аянов.

– А знаешь – ты отчасти прав. Прежде всего скажу, что мои увлечения всегда искренны и не умышленны: – это не волокитство – знай однажды навсегда. И когда мой идол хоть одной чертой подходит к идеалу, который фантазия сейчас создает мне из него, – у меня само собою доделается остальное, и тогда возникает идеал счастья, семейного...

– Вот видишь; ну так и женись... – заметил Аянов.

– Погоди, погоди: никогда ни один идеал не доживал до срока свадьбы: бледнел, падал, и я уходил охлажденный... Что фантазия создает, то анализ разрушает, как карточный домик. Или сам идеал, не дождавшись охлаждения, уходит от меня...

– А все-таки каждый день сидеть с женщиной и болтать!.. – упрямо твердил Аянов, покачивая головой. – Ну о чем, например, ты будешь говорить хоть сегодня? Чего ты хочешь от нее, если ее за тебя не выдадут?

– И я тебя спрошу: чего ты хочешь от ее теток? Какие карты к тебе придут? Выиграешь ты или проиграешь? Разве ты ходишь с тем туда, чтоб выиграть все шестьдесят тысяч дохода? Ходишь поиграть – и выиграть что-нибудь...

– У меня никаких расчетов нет: я делаю это от... от... для удовольствия.

– От... от скуки – видишь, и я для удовольствия – и тоже без расчетов. А как я наслаждаюсь красотой, ты и твой Иван Петрович этого не поймете, не во гнев тебе и ему – вот и все. Ведь есть же одни, которые молятся страстно, а другие не знают этой потребности, и...

– Страстно! Страсти мешают жить. Труд – вот одно лекарство от пустоты: дело, – сказал Аянов внушительно.

Райский остановился, остановил Аянова, ядовито улыбнулся и спросил: «Какое дело, скажи пожалуйста: это любопытно!»

– Как какое? Служи.

– Разве это дело? Укажи ты мне в службе, за немногими исключениями, дело, без которого бы нельзя было обойтись?

Аянов засвистал от удивления.

– Вот тебе раз! – сказал он и поглядел около себя. – Да вот! – Он указал на полицейского чиновника, который упорно глядел в одну сторону.

– А спроси его, – сказал Райский, – зачем он тут стоит и кого так пристально высматривает и выжидает? Генерала! А нас с тобой не видит, так что любой прохожий может вытащить у нас платок из кармана. Ужели ты считал делом твои бумаги? Не будем распространяться об этом, а скажу тебе, что я, право, больше делаю, когда мажу свои картины, бренчу на рояле и даже когда поклоняюсь красоте...

– И что особенного, кроме красоты, нашел ты в своей кухне?

– Кроме красоты! Да это все! Впрочем, я мало знаю ее: это-то, вместе с красотой, и влечет меня к ней...

– Как, каждый день вместе и мало знаешь!..

– Мало. Не знаю, что у нее кроется под этим спокойствием, не знаю ее прошлого и не угадываю ее будущего. Женщина она или кукла, живет или подделывается под жизнь? И это мучит меня... Вон, смотри, – продолжал Райский, – видишь эту женщину?

– Ту толстую, что лезет с узлом на извозчика?

– Да, и вот эту, что глядит из окна кареты? И вон ту, что заворачивает из-за угла навстречу нам?

– Ну, так что же?

– Ты на их лицах мельком прочтешь какую-нибудь заботу, или тоску, или радость, или мысль, признак воли: ну, словом, – движение, жизнь. Немного нужно, чтоб подобрать ключ и сказать, что тут семья и дети, значит, было прошлое, а там глядит страсть или живой след симпатии, – значит, есть настоящее, а здесь на молодом лице играют надежды, просятся наружу желания и пророчат беспокойное будущее...

– Ну?

– Ну, везде что-то живое, подвижное, требующее жизни и отзывающееся на нее... А там ничего этого нет, ничего, хоть шаром покати! Даже нет апатии, скуки, чтоб можно было сказать: была жизнь и убита – ничего! Сияет и блестит, ничего не просит и ничего не отдает! И я ничего не знаю! А ты удивляешься, что я бьюсь?

– Давно бы сказал мне это, и я удивляться перестал бы, потому что я сам такой, – сказал Аянов, вдруг останавливаясь. – Ходи ко мне, вместо нее...

– Ты?

– Да – я!

– Что же ты, красотой блистаешь!..

– Блистаю спокойствием и наслаждаюсь этим; и она тоже... Что тебе за дело!..

– До тебя – никакого, а она – красота, красота!

– Женись, а не хочешь или нельзя, так оставь, займись делом...

– Ты прежде заведи дело, в которое мог бы броситься живой ум, гнушающийся мертвечины, и страстная душа, и укажи, как положить силы во что-нибудь, что стоит борьбы, а с своими картами, визитами, раутами и службой – убирайся к черту!

– У тебя беспокойная натура, – сказал Аянов, – не было строгой руки и тяжелой школы – вот ты и куролесишь... Помнишь, ты рассказывал, когда твоя Наташа была жива...

Райский вдруг остановился и, с грустью на лице, схватил своего спутника за руку.

– Наташа! – повторил он тихо, – это единственный тяжелый камень у меня на душе – не мешай память о ней в эти мои впечатления и мимолетные увлечения...

Он вздохнул, и они молча дошли до Владимирской церкви, свернули в переулок и вошли в подъезд барского дома.

II

Райский с год только перед этим познакомился с Софьей Николаевной Беловодовой, вдовой на двадцать пятом году, после недолгого замужества с Беловодовым, служившим по дипломатической части.

Она была из старинного богатого дома Пахотиных. Матери она лишилась еще до замужества, и батюшка ее, состоявший в полном распоряжении супруги, почувствовав себя на свободе, вдруг спохватился, что молодость его рано захвачена была женитьбой и что он не успел пожить и пожуировать.

Он повел было жизнь холостяка, пересиливал годы и природу, но не пересилил и только смотрел, как ели и пили другие, а у него желудок не варил. Но он уже успел нанести смертельный удар своему состоянию.

У него, взамен наслаждений, которыми он пользоваться не мог, явилось старческое тщеславие иметь вид шалуна, и он стал вознаграждать себя за верность в супружестве сумасбродными связями, на которые быстро ушли все наличные деньги, брильянты жены, наконец и большая часть приданого дочери. На недвижимое имение, и без того заложенное им еще до женитьбы, наросли значительные долги.

Когда источники иссякли, он изредка, в год раз, иногда два, делает дорогую шалость, купит брильянты какой-нибудь Armanse, экипаж, сервиз, ездит к ней недели три, провожает в театр, делает ей ужины, сзывает молодежь, а потом опять смолкнет до следующих денег.

Николай Васильевич Пахотин был очень красивый сановитый старик, с мягкими, почтенными сединами. По виду его примешь за какого-нибудь Пальмерстона.

Особенно красив он был, когда с гордостью вел под руку Софью Николаевну куда-нибудь на бал, на общественное гулянье. Не знавшие его почтительно сторонились, а знакомые, завидя шалуна, начинали уже улыбаться и потом фамильярно и шутиливо трясти его за руку, звали устроить веселый обед, рассказывали на ухо приятную историю...

Старик шутил, рассказывал сам направо и налево анекдоты, говорил каламбуры, особенно любил с сверстниками жить воспоминаниями минувшей молодости и своего времени. Они с восторгом припоминали, как граф Борис или Денис проигрывал кучи золота; терзались тем, что сами тратили так мало, жили так мизерно; поучали внимательную молодежь великому искусству жить.

Но особенно любил Пахотин уноситься воспоминаниями в Париж, когда в четырнадцатом году русские явились великодушными победителями, перещеголявшими любезностью тогдашних французов, уже попорченных в этом отношении революцией, и превосходившими безумным мотовством широкую щедрость англичан.

Старик шутя проживал жизнь, всегда смеялся, рассказывал только веселое, даже на драму в театре смотрел с улыбкой, любясь ножкой или лорнируя la gorge³ актрисы.

Когда же наставало не веселое событие, не обед, не соблазнительная закулисная драма, а затрогивались нервы жизни, слышался в ней громовой раскат, когда около него возникал важный вопрос, требовавший мысли или воли, старик тупо недоумевал, впадал в беспокойное молчание и только учащенно жевал губами.

У него был живой, игривый ум, наблюдательность и некогда смелые порывы в характере. Но шестнадцати лет он поступил в гвардию, выучась отлично говорить, писать и петь по-французски и почти не зная русской грамоты. Ему дали отличную квартиру, лошадей, экипаж и тысяч двадцать дохода.

³ грудь (фр.).

Никто лучше его не был одет, и теперь еще, в старости, он дает законы вкуса портному; все на нем сидит отлично, ходит он бодро, благородно, говорит с уверенностью и никогда не выходит из себя. Судит обо всем часто наперекор логике, но владеет софизмом с необыкновенною ловкостью.

С ним можно не согласиться, но сбить его трудно. Свет, опыт, вся жизнь его не дали ему никакого содержания, и оттого он боится серьезного, как огня. Но тот же опыт, жизнь всегда в куче людей, множество встреч и способность знакомиться со всеми образовывали ему какой-то очень приятный, мелкий умок, и не знающий его с первого раза даже положится на его совет, суждение, и потом уже, жестоко обманувшись, разглядит, что это за человек.

Он не успел еще окунуться в омут опасной, при праздности и деньгах, жизни, как на двадцать пятом году его женили на девушке красивой, старого рода, но холодной, с деспотическим характером, сразу угадавшей слабость мужа и прибравшей его к рукам.

Теперь Николай Васильевич Пахотин заседает в каком-то совете раз в неделю, имеет важный чин, две звезды и томительно ожидает третьей. Это его общественное значение.

Было у него другое ожидание – поехать за границу, то есть в Париж, уже не с оружием в руках, а с золотом, и там пожить, как живали в старину.

Он с наслаждением и завистью припоминал анекдоты времен революции, как один знатный повеса разбил там чашку в магазине и в ответ на упреки купца перебил и переломал еще множество вещей и заплатил за весь магазин; как другой перекупил у короля дачу и подарил танцовщице. Оканчивал он рассказы вздохом сожаления о прошлом.

Вскоре после смерти жены он было попросился туда, но образ его жизни, нравы и его затеи так были известны в обществе, что ему, в ответ на просьбу, коротко отвечено было: «Незачем». Он пожевал губами, похандрил, потом сделал какое-то громадное, дорогое сумасбродство и успокоился. После того, уже промотавшись окончательно, он в Париж не порывался.

Кроме томительного ожидания третьей звезды, у него было еще постоянное дело, постоянное стремление, забота, куда уходили его напряженное внимание, соображения, вся его тактика, с тех пор как он промотался, – это извлекать из обеих своих старших сестер, пожилых девушек, теток Софьи, денежные средства на шалости.

Надежда Васильевна и Анна Васильевна Пахотины, хотя были скупы и не ставили собственную личность своего брата в грош, но дорожили именем, которое он носил, репутацией и важностью дома, преданиями, и потому, сверх определенных ему пяти тысяч карманных денег, в разное время выдавали ему субсидии около такой же суммы, и потом еще, с выговорами, с наставлениями, чуть не с плачем, всегда к концу года платили почти столько же по счетам портных, мебельщиков и других купцов.

Они знали, на какое употребление уходят у него деньги, но на это они смотрели снисходительно, помня нестрогие нравы повес своего времени и находя это в мужчине естественным. Только они, как нравственные женщины, затыкали уши, когда он захочет похвастаться перед ними своими шалостями или когда кто другой вздумает довести до их сведения о каком-нибудь его сумасбродстве.

Он был в их глазах пустой, никуда не годный, ни на какое дело, ни для совета – старик и плохой отец, но он был Пахотин, а род Пахотиных уходит в древность, портреты предков занимают всю залу, а родословная не укладывается на большом столе, и в роде их было много лиц с громким значением.

Они гордились этим и прощали брату все, за то только, что он Пахотин.

Сами они блистали некогда в свете, и по каким-то, кроме их, всеми забытым причинам остались девами. Они уединились в родовом доме и там, в семействе женатого брата, доживали старость, окружив строгим вниманием, попечениями и заботами единственную

дочь Пахотина, Софью. Замужество последней расстроило было их жизнь, но она овдовела, лишилась матери и снова, как в монастырь, поступила под авторитет и опеку теток.

Они были две высокие, седые, чинные старушки, ходившие дома в тяжелых шелковых темных платьях, больших чепцах, на руках со многими перстнями.

Надежда Васильевна страдала тиком и носила под чепцом бархатную шапочку, на плечах бархатную, подбитую горностаем кацавейку, а Анна Васильевна сырцовые букли и большую шаль.

У обеих было по ридикюлю, а у Надежды Васильевны высокая золотая табакерка, около нее несколько носовых платков и моська, старая, всегда заспанная, хрипящая и от старости не узнающая никого из домашних, кроме своей хозяйки.

Дом у них был старый, длинный, в два этажа, с гербом на фронтоне, с толстыми, массивными стенами, с глубокими окошками и длинными простенками.

В доме тянулась бесконечная анфилада обитых штофом комнат; темные тяжелые резные шкафы, с старым фарфором и серебром, как саркофаги, стояли по стенам с тяжелыми же диванами и стульями рококо, богатыми, но жесткими, без комфорта. Швейцар походил на Нептуна; лакеи пожилые и молчаливые, женщины в темных платьях и чепцах. Экипаж высокий, с шелковой бахромой, лошади старые, породистые, с длинными шеями и спинами, с побелевшими от старости губами, при езде крупно кивающие головой.

Комната Софьи смотрела несколько веселее прочих, особенно когда присутствовала в ней сама хозяйка: там были цветы, ноты, множество современных безделок.

Еще бы немного побольше свободы, беспорядка, света и шуму – тогда это был бы свежий, веселый и розовый приют, где бы можно замечтаться, зачитаться, заиграться и, пожалуй, залюбиться.

Но цветы стояли в тяжелых старинных вазах, точно надгробных урнах, горка массивного старого серебра придавала еще больше античности комнате. Да и тетки не могли видеть беспорядка: чуть цветы раскинутся в вазе прихотливо, входила Анна Васильевна, звонила девушку в чепце и приказывала собрать их в симметрию.

Если оказывалась книга в богатом переплете лежащею на диване, на стуле, – Надежда Васильевна ставила ее на полку; если западал слишком вольный луч солнца и играл на хрустале, на зеркале, на серебре, – Анна Васильевна находила, что глазам больно, молча указывала человеку пальцем на портьеру, и тяжелая, негнущаяся шелковая завеса мерно падала с петли и закрывала свет.

Зато внизу, у Николая Васильевича, был полный беспорядок. Старые предания мешались там с следами современного комфорта. Подле тяжелого буля стояла откидная кушетка от Гамбса, высокий готический камин прикрывался ширмами с картинами фоблазовских нравов, на столах часто утро заставало остатки ужина, на диване можно было найти иногда женскую перчатку, ботинку, в уборной его – целый магазин косметических снадобьев.

Как тихо и молчаливо было наверху, так внизу слышались часто звонкие голоса, смех, всегда было там живо, беспорядочно. Камердинер был у него француз, с почтительной речью и наглым взглядом.

III

Много комнат прошли Райский и Аянов, прежде нежели добрались до жилья, то есть до комнат, где сидели обе старухи и Софья Николаевна.

Когда они вошли в гостиную, на них захрипела моська, но не смогла полаять и, повертевшись около себя, опять улеглась.

Анна Васильевна кивнула им, а Надежда Васильевна, в ответ на поклоны, ласково поглядела на них, с удовольствием высморкалась и сейчас же понюхала табаку, зная, что у ней будет партия.

— Ma cousine!⁴ — сказал Райский, протянув руку Беловодовой.

Она поклонилась с улыбкой и подала ему руку.

— Позвони, Sophie, чтобы кушать давали, — сказала старшая тетка, когда гости уселись около стола.

Софья Николаевна поднялась было с места, но Райский предупредил ее и дернул шнурок.

— Скажи Николаю Васильевичу, что мы садимся обедать, — с холодным достоинством обратилась старуха к человеку. — Да кушать давать! Ты что, Борис, опоздал сегодня: четверть шестого! — упрекнула она Райского. Он был двоюродным племянником старух и троюродным братом Софьи. Дом его, тоже старый и когда-то богатый, был связан родством с домом Пахотиных. Но познакомился он с своей родней не больше года тому назад.

В этом он виноват был сам. Старухи давно уже, услышав его фамилию, осведомлялись, из тех ли он Райских, которые происходили тогда-то от тех-то и жили там-то?

Он знал об этом, но притаился и пропустил этот вопрос без внимания, не находя ничего занимательного знакомиться с скучным, строгим, богатым домом.

Сам он был не скучен, не строг и не богат. Старину своего рода он не ставил ни во что, даже никогда об этом не помнил и не думал.

Остался он еще в детстве сиротой, на руках равнодушного, холостого опекуна, а тот отдал его сначала на воспитание родственнице, приходившейся двоюродной бабушкой Райскому.

Она была отличнейшая женщина по сердцу, но далее своего уголка ничего знать не хотела, и там в тиши, среди садов и рощ, среди семейных и хозяйственных хлопот маленького размера, провел Райский несколько лет, а чуть подрос, опекун поместил его в гимназию, где окончательно изгладились из памяти мальчика все родовые предания фамилии о прежнем богатстве и родстве с другими старыми домами.

Дальнейшее развитие, занятия и направление еще более отвели Райского от всех преданий старины.

И он не спешил сблизиться с своими петербургскими родными, которые о нем знали тоже по слуху. Но как-то зимой Райский однажды на балу увидел Софью, раза два говорил с нею и потом уже стал искать знакомства с ее домом. Это было всего легче сделать через отца ее: так Райский и сделал.

Он знал одну хорошенькую актрису и на вечере у нее ловко подделался к старику, потом подарил ему портрет этой актрисы своей работы, напомнил ему о своей фамилии, о старых связях и скоро был представлен старухам и дочери.

Он так обворожил старух, являясь то робким, покорным мудрой старости, то живым, веселым собеседником, что они скоро перешли на *ты* и стали звать его *mon neveu*,⁵ а он стал

⁴ Кузина! (фр.)

⁵ племянником (фр.).

звать Софью Николаевну кузиной и приобрел степень короткости и некоторые права в доме, каких постороннему не приобрести во сто лет.

Но все-таки он еще был недоволен тем, что мог являться по два раза в день, приносить книги, ноты, приходить обедать запросто. Он привык к обществу новых современных нравов и к непринужденному обхождению с женщинами.

А Софья мало оставалась одна с ним: всегда присутствовала то одна, то другая старуха; редко разговор выходил из пределов текущей жизни или родовых воспоминаний.

А если затрогивались вопросы живые, глубокие, то старухи тоном и сентенциями сейчас клали на всякий разговор свою патентованную печать.

Райский между тем сгорал желанием узнать не Софью Николаевну Беловодову – там нечего было узнавать, кроме того, что она была прекрасная собой, прекрасно воспитанная, хорошего рода и тона женщина, – он хотел отыскать в ней просто женщину, наблюдать и определить, что кроется под этой покойной, неподвижной оболочкой красоты, сияющей ровно, одинаково, никогда не бросавшей ни на что быстрого, жаждущего, огненного или наконец скучного, утомленного взгляда, никогда не обмолвившейся нетерпеливым, неосторожным или порывистым словом?

Но она в самом деле прекрасна. Нужды нет, что она уже вдова, женщина; но на открытом, будто молочной белизны белом лбу ее и благородных, несколько крупных чертах лица лежит девическое, почти детское неведение жизни.

Она, кажется, не слыхала, что есть на свете страсти, тревоги, дикая игра событий и чувств, доводящие до проклятий, стирающие это сияние с лица.

Большие серо-голубые глаза полны ровного, немерцающего горения. Но в них теплится будто и чувство; кажется, она не бессердечная женщина.

Но какое это чувство? Какого-то всеобщего благоволения, доброты ко всему на свете, – такое чувство, если только это чувство, каким светятся глаза у людей сытых, беззаботных, всем удовлетворенных и не ведающих горя и нужд.

Волоса у нее были темные, почти черные, и густая коса едва сдерживалась большими булавками на затылке. Плечи и грудь поражали пышностью.

Цвет лица, плеч, рук – был цельный, свежий цвет, блистающий здоровьем, ничем не тронутым – ни болезнью, ни бедами.

Одевалась она просто, если разглядеть подробно все, что на ней было надето, но казалась великолепно одетой. И материя ее платья как будто была особенная, и ботинки не так сидят на ней, как на других.

Великолепной картиной, видением явилась она Райскому где-то на вечере в первый раз.

В другой вечер он увидел ее далеко, в театре, в третий раз опять на вечере, потом на улице – и всякий раз картина оставалась верна себе, в блеске и красках.

Напрасно он настойчивым взглядом хотел прочесть ее мысль, душу, все, что крылось под этой оболочкой: кроме глубокого спокойствия, он ничего не прочел. Она казалась ему все той же картиной или отличной статуей музея.

Все находили, что она образец достоинства строгих понятий, *comme il faut*,⁶ жалели, что она лишена семейного счастья, и ждали, когда новый Гименей наложит на нее цепи.

В семействе тетки и близкие старики и старухи часто при ней гадали ей, в том или другом искателе, мужа: то посланник являлся чаще других в дом, то недавно отличившийся генерал, а однажды серьезно поговаривали об одном старике, иностранце, потомке королевского, угасшего рода. Она молчит и смотрит беззаботно, как будто дело идет не о ней.

⁶ светскости (*фр.*).

Другие находили это натуральным, даже высоким, sublime,⁷ только Райский – бог знает из чего, бился истребить это в ней и хотел видеть другое.

Она на его старания смотрела ласково, с улыбкой. Ни в одной черте никогда не было никакой тревоги, желания, порыва.

Напрасно он, слыша раздирающий вопль на сцене, быстро глядел на нее – что она? Она смотрела на это без томительного, поглотившего всю публику напряжения, без наивного сострадания.

И карикатура на жизнь, комическая сцена, вызвавшая всеобщий продолжительный хохот, вызывала у ней только легкую улыбку и молчаливый, обмененный с бывшей с ней в ложе женщиной, взгляд.

«И она была замужем!» – думал Райский в недоумении.

Он познакомился с ней и потом познакомил с домом ее бывшего своего сослуживца Аянова, чтобы два раза в неделю делать партию теткам, а сам, пользуясь этим скудным средством, сближался сколько возможно с кузиной, урывками вслушивался, вглядывался в нее, не зная, зачем, для чего?

⁷ возвышенным (фр.).

IV

Уже сели за стол, когда пришел Николай Васильевич, одетый в коротенький сюртук, с безукоризненно завязанным галстуком, обритый, сияющий белизной жилета, моложавым видом и красивыми, душистыми сединами.

– Bonjour, bonjour!⁸ – отвечал он, кивая всем. – Я не обедаю с вами, не беспокойтесь, ne vous derangez pas,⁹ – говорил он, когда ему предлагали сесть. – Я за городом сегодня.

– Помилуй, Nicolas, за городом! – сказала Анна Васильевна. – Ведь там еще не растаяло... Или давно ревматизм не мучил?

Пахотин пожал плечами.

– Что делать! Ce que femme veut, Dieu le veut!¹⁰ Вчера la petite Nini¹¹ заказала Виктору обед на ферме: «Хочу, говорит, подышать свежим воздухом...» Вот и я хочу!..

– Пожалуйста, пожалуйста! – замахала рукой Надежда Васильевна, – поберегите подробности для этой petite Nini.

– Вы напрасно рискуете, – сказал Аянов, – я в теплом пальто озяб.

– Э! mon cher¹² Иван Иванович: а если б вы шубу надели, так и не озябли бы!..

– Partie de plaisir¹³ за городом – в шубах! – сказал Райский.

– За городом! Ты уже представляешь себе, с понятием «за городом», – и зелень, и ручьи, и пастушков, а может быть, и пастушку... Ты артист! А ты представь себе загородное удовольствие без зелени, без цветов...

– Без тепла, без воды... – перебил Райский.

– И только с воздухом... А воздухом можно дышать и в комнате. Итак, я еду в шубе... Надену кстати бархатную ермолку под шляпу, потому что вчера и сегодня чувствую шум в голове: все слышится, будто колокола звонят; вчера в клубе около меня по-немецки болтают, а мне кажется, грызут грецкие орехи... А все же поеду. О женщины!

– Это тоже – Дон-Жуан? – спросил тихонько Аянов у Райского.

– Да, в своем роде. Повторяю тебе, Дон-Жуаны, как Дон-Кихоты, разнообразны до бесконечности. У этого погасло артистическое, тонкое чувство поклонения красоте. Он поклоняется грубо, чувственно...

– Ну, брат, какую ты метафизику устроил из красоты!

– Женщины, – продолжал Пахотин, – теперь только и находят развлечение с людьми наших лет. (Он никогда не называл себя стариком.) И как они любезны: например, Pauline сказала мне...

– Пожалуйста, пожалуйста! – заговорила с нетерпением Надежда Васильевна. – Уезжайте, если не хотите обедать...

– Ах, ma soeur!¹⁴ два слова, – обратился он к старшей сестре и, нагнувшись, тихо, с умоляющим видом, что-то говорил ей.

– Опять! – с холодным изумлением перебила Надежда Васильевна. – Нету! – упрямо сказала потом.

⁸ Здравствуйте, здравствуйте! (фр.)

⁹ не беспокойтесь (фр.).

¹⁰ Чего хочет женщина – того хочет Бог! (фр.)

¹¹ малютка Нини (фр.).

¹² дорогой (фр.).

¹³ Увеселительная прогулка (фр.).

¹⁴ сестрица (фр.).

– Quinze cents!¹⁵ – умолял он.

– Нету, нету, mon frère!¹⁶ к Святой неделе вы получили три тысячи, и уж нет... Это ни на что не похоже...

– Eh bien, mille roubles!¹⁷ Графу отдать: я у него на той неделе занял: совестно в глаза смотреть.

– Нету и нету: а на меня вам не совестно смотреть?

Он отошел от нее и в раздумье пожевал губами.

– Вам сказывали люди, папа, что граф сегодня заезжал к вам? – спросила Софья, услышав имя графа.

– Да; жаль, что не застал. Я завтра буду у него.

– Он завтра рано уезжает в Царское Село.

– Он сказал?

– Да, он заходил сюда. Он говорит, что ему нужно бы видеть вас, дело какое-то...

Пахотин опять пожевал губами.

– Знаю, знаю зачем! – вдруг догадался он, – бумаги разбирать – merci,¹⁸ а к Святой опять обошел меня, а Илье дали! Qu'il aille se promener!¹⁹ Ты не была в Летнем саду? – спросил он у дочери. – Виноват, я не успел...

– Нет, я завтра поеду с Catherine: она обещала заехать за мной.

Он поцеловал дочь в лоб и уехал. Обед кончился; Аянов и старухи уселись за карты.

– Ну, Иван Иванович, не сердитесь, – сказала Анна Васильевна, – если опять забуду да свою трэфовую даму побью. Она мне даже сегодня во сне приснилась. И как это я ее забыла! Кладу девятку на чужого валета, а дама на руках...

– Случается! – сказал любезно Аянов.

Райский и Софья сидели сначала в гостиной, потом перешли в кабинет Софьи.

– Что вы делали сегодня утром? – спросил Райский.

– Ездил в институт, к Лидии.

– А! к кухне. Что она, мила? Скоро выйдет?

– К осени; а на лето мы ее возьмем на дачу. Да: она очень мила, похорошела, только еще смешна... и все они пресмешные...

– А что?

– Окружили меня со всех сторон; от всего приходят в восторг: от кружева, от платья, от серег; даже просили показать ботинки... – Софья улыбнулась.

– Что ж, вы показали?

– Нет. Надо летом отучить Лидию от этих наивностей...

– Зачем же отучить? Наивные девочки, которых все занимает, веселит, и слава Богу, что занимают ботинки, потом займут их деревья и цветы на вашей даче... Вы и там будете мешать им?

– О нет, цветы, деревья – кто ж им будет мешать в этом? Я только помешала им видеть мои ботинки: это не нужно, лишнее.

– Разве можно жить без лишнего, без ненужного?

– Кажется, вы сегодня опять намерены воевать со мной? – заметила она. – Только, пожалуйста, не громко, а то тетушки поймут какое-нибудь слово и захотят знать подробности: скучно повторять.

¹⁵ Полторы тысячи! (фр.)

¹⁶ братец (фр.).

¹⁷ Ну, тысячу рублей! (фр.)

¹⁸ благодарю (фр.).

¹⁹ Пусть убирается! (фр.)

– Если все свести на нужное и серьезное, – продолжал Райский, – куда как жизнь будет бедна, скучна! Только что человек выдумал, прибавил к ней – то и красит ее. В отступлениях от порядка, от формы, от ваших скучных правил только и есть отрады...

– Если б *ma tante*²⁰ услышала вас на этом слове... «отступления от правил»... – заметила Софья.

– Сейчас бы сказала: пожалуйста, пожалуйста, – досказал Райский. – А вы что скажете? – спросил он. – Обойдитесь хоть однажды без «*ma tante*»! Или это ваш собственный взгляд на отступления от правил, проведенный только через авторитет *ma tante*?

– Вы, по обыкновению, хотите из желания девочек посмотреть ботинки сделать важное дело, разбранить меня и потом заставить согласиться с вами... да?

– Да, – сказал Райский.

– Что у вас за страсть преследовать мои бедные правила?

– Потому что они не ваши.

– Чьи же?

– Тетушкины, бабушкины, дедушкины, прабабушкины, прадедушкины, вон всех этих полинявших господ и госпож в робронах, манжетах...

Он указал на портреты.

– Вот видите, как много за мои правила, – сказала она шутливо. – А за ваши!..

– Еще больше! – возразил Райский и открыл портьеру у окна.

– Посмотрите, все эти идущие, едущие, снующие взад и вперед, все эти живые, не полинявшие люди – все за меня! Идите же к ним, кузина, а не от них назад! Там жизнь... – Он опустил портьеру. – А здесь – кладбище.

– По крайней мере, можете ли вы, *cousin*, однажды навсегда сделать *resume*:²¹ какие это *их* правила, – она указала на улицу, – в чем они состоят, и отчего то, чем жило так много людей и так долго, вдруг нужно менять на другое, которым живут...

– В вашем вопросе есть и ответ: «жило», – сказали вы, и – отжило, прибавлю я. А эти, – он указал на улицу, – живут! Как живут – рассказать этого нельзя, кузина. Это значит рассказать вам жизнь вообще, и современную в особенности. Я вот сколько времени рассказываю вам всячески: в спорах, в примерах, читаю... а все не расскажу.

– Кто ж виноват, – я?

– Вы, кузина; чего другого, а рассказывать я умею. Но вы непоколебимы, невозмутимы, не выходите из своего укрепления... и я вам низко кланяюсь.

Он низко поклонился ей. Она смотрела на него с улыбкой.

– Будем оба непоколебимы: не выходить из правил, кажется, это все... – сказала она.

– Не выходить из слепоты – не бог знает какой подвиг!.. Мир идет к счастью, к успеху, к совершенству...

– Но ведь я... совершенство, *cousin*? Вы мне третьего дня сказали и даже собрались доказать, если б я только захотела слушать...

– Да, вы совершенны, кузина; но ведь Венера Милосская, головки Грёза, женщины Рубенса – еще совершеннее вас. Зато... ваша жизнь, ваши правила... куда как несовершенны!

– Что же надо делать, чтоб понять эту жизнь и ваши мудреные правила? – спросила она покойным голосом, показывавшим, что она не намерена была сделать шаг, чтоб понять их, и говорила только потому, что об этом зашла речь.

²⁰ тетушка (фр.).

²¹ вывод (фр.).

– Что делать? – повторил он. – Во-первых, снять эту портьеру с окна, и с жизни тоже, и смотреть на все открытыми глазами, тогда поймете вы, отчего те старики полиняли и лгут вам, обманывают вас бессовестно из своих позолоченных рамок...

– Cousin! – с улыбкой за резкость выражения вступилась Софья за предков.

– Да, да, – задорно продолжал Райский, – они лгут. Вот посмотрите, этот напудренный старик с стальным взглядом, – говорил он, указывая на портрет, висевший в простенке, – он был, говорят, строг даже к семейству, люди боялись его взгляда... Он так и говорит со стены: «Держи себя достойно», – чего: человека, женщины, что ли? нет, – «достойно рода, фамилии», и если, Боже сохрани, явится человек с вчерашним именем, с добытым собственной головой и руками значением – «не возводи на него глаз, помни, ты носишь имя Пахотиных!..» Ни лишнего взгляда, ни смелой, естественной симпатии... Боже сохрани от mesalliance!²² А сам – кого удостоивал или кого не удостоивал сближения с собой? «Il faut bien placer ses affections»,²³ – говорит он на своем нечеловеческом наречии, высказывающем нечеловеческие понятия. А на какие affections²⁴ разбросал сам свою жизнь, здоровье? Положил ли эти affections на эту сухую старушку, с востреньким носиком, жену свою!.. – Райский указал на другой женский портрет. – Нет, она смотрит что-то невесело, глаза далеко ушли во впадины: это такая же жертва хорошего тона, рода и приличий... как и вы, бедная, несчастная кузина...

– Cousin, cousin! – с усмешкой останавливала его Софья.

– Да, кузина: вы обмануты, и ваши тетки прожили жизнь в страшном обмане и принесли себя в жертву призраку, мечте, пыльному воспоминанию... Он велел! – говорил он, глядя почти с яростью на портрет, – сам жил обманом, лукавством или силою, мотал, творил ужасы, а другим велел не любить, не наслаждаться!

– Cousin! пойдемте в гостиную: я не сумею ничего отвечать на этот прекрасный монолог... Жаль, что он пропадет даром! – чуть-чуть насмешливо заметила она.

– Да, – отвечал он, – предок торжествует. Завещанные им правила крепки. Он любит вас, кузина: спокойствие, безукоризненная чистота и сияние окружают вас, как ореол...

Он вздохнул.

– Все это лишнее, ненужное, cousin! – сказала она, – ничего этого нет. Предок не любит меня, и ореола нет, а я люблюсь на вас и долго не поеду в драму: я вижу сцену здесь, не трогаясь с места... И знаете, кого вы напоминаете мне? Чацкого...

Он задумался и сам мысленно глядел на себя и улыбнулся.

– Это правда, я глуп, смешон, – сказал он, подходя к ней и улыбаясь весело и добродушно, – может быть, я тоже с корабля попал на бал... Но и Фамусовы в юбке! – Он указал на теток. – Ужели лет через пять, через десять...

Он не досказал своей мысли, сделал нетерпеливый жест рукой и сел на диван.

– О каком обмане, силе, лукавстве говорите вы? – спросила она. – Ничего этого нет. Никто мне ни в чем не мешает... Чем же виноват предок? Тем, что вы не можете рассказать своих правил? Вы много раз принимались за это, и все напрасно...

– Да, с вами напрасно, это правда, кузина! Предки ваши...

– И ваши тоже: у вас тоже есть они.

– Предки наши были умные, ловкие люди, – продолжал он, – где нельзя было брать силой и волей, они создали систему, она обратилась в предание – и вы гибнете систематически, по преданию, как индианка, сожигающаяся с трупом мужа...

– Послушайте, monsieur Чацкий, – остановила она, – скажите мне по крайней мере отчего я гибну? Оттого что не понимаю новой жизни, не... не поддаюсь... как вы это назы-

²² неравного брака (фр.).

²³ Нужно быть осмотрительнее в своих привязанностях (фр.).

²⁴ привязанности (фр.).

ваете... развитию? Это ваше любимое слово. Но вы достигли этого развития, да? а я всякий день слышу, что вы скучаете... вы иногда наводите на всех скуку...

– И на вас тоже?

– Нет, не шутя, мне жаль вас...

– Говоря о себе, не ставьте себя наряду со мной, кузина: я урод, я... я... не знаю, что я такое, и никто этого не знает. Я больной, ненормальный человек, и притом я отжил, испортил, исказил... или нет, не понял своей жизни. Но вы цельны, определенны, ваша судьба так ясна, и между тем я мучаюсь за вас. Меня терзает, что даром уходит жизнь, как река, текущая в пустыне... А то ли суждено вам природой? Посмотрите на себя...

– Что же мне делать, cousin: я не понимаю? Вы сейчас сказали, что для того, чтобы понять жизнь, нужно, во-первых, снять портьеру с нее. Положим, она снята, и я не слушаюсь предков: я знаю, зачем, куда бегут все эти люди, – она указала на улицу, – что их занимает, тревожит: что же нужно, во-вторых?

– Во-вторых, нужно...

Он встал, заглянул в гостиную, подошел тихо к ней и тихо, но внятно сказал:

– Любить!

– *Voilà le grand mot!*²⁵ – насмешливо заметила она.

Оба молчали.

– Вы, кажется, и их упрекали, зачем они не любят, – с улыбкой прибавила она, показав головой к гостиной на теток.

Райский махнул с досадой на теток рукой.

– Вы будто лучше теток, кузина? – возразил он. – Только они стары, больны, а вы прекрасны, блистательны, ослепительны...

– *Merci, merci*, – нетерпеливо перебила она с своей обыкновенной, как будто застывшей улыбкой.

– Что же вы не спросите меня, кузина, что значит любить, как я понимаю любовь?

– Зачем? Мне не нужно это знать.

– Нет, вы не смеете спросить!

– Почему?

– Они услышат. – Райский указал на портреты предков. – Они не велят... – Он указал в гостиную на теток.

– Нет, *он* услышит! – сказала она, указывая на портрет своего мужа во весь рост, стоявший над диваном, в готической золоченой раме.

Она встала, подошла к зеркалу и задумчиво расправляла кружево на шее.

Райский между тем изучал портрет мужа: там видел он серые глаза, острый, небольшой нос, иронически сжатые губы и коротко остриженные волосы, рыжеватые бакенбарды. Потом взглянул на ее роскошную фигуру, полную красоты, и мысленно рисовал того счастливицу, который мог бы, по праву сердца, велеть или не велеть этой богине.

«Нет, нет, не этот! – думал он, глядя на портрет, – это тоже предок, не успевший еще поиняться; не ему, а принципу своему покорна ты...»

– Вы так часто обращаетесь к своему любимому предмету, к любви, а посмотрите, cousin, ведь мы уж стары, пора перестать думать об этом! – говорила она, кокетливо глядя в зеркало.

– Значит, пора перестать жить... Я – положим, а вы, кузина?

– Как же живут другие, почти все?

– Никто! – с уверенностью перебил он.

– Как? По-вашему, князь Пьер, Анна Борисовна, Лев Петрович... все они...

²⁵ Вот оно, великое слово! (*фр.*)

– Живут или воспоминаниями любви, или любят, да притворяются...

Она засмеялась и стала собирать в симметрию цветы, потом опять подошла к зеркалу.

– Да, любили или любят, конечно, про себя, и не делают из этого никаких историй, – досказала она и пошла было к гостинной.

– Одно слово, кухня! – остановил он ее.

– О любви? – спросила она, останавливаясь.

– Нет, не бойтесь, по крайней мере теперь я не расположен к этому. Я хотел сказать другое.

– Говорите, – мягко сказала она, садясь.

– Я пойду прямо к делу: скажите мне, откуда вы берете это спокойствие, как удается вам сохранить тишину, достоинство, эту свежесть в лице, мягкую уверенность и скромность в каждом мерном движении вашей жизни? Как вы обходитесь без борьбы, без увлечений, без падений и без побед? Что вы делаете для этого?

– Ничего! – с удивлением сказала она. – Зачем вы хотите, чтоб со мной делались какие-то конвульсии?

– Но ведь вы видите других людей около себя, не таких, как вы, а с тревогой на лице, с жалобами.

– Да, вижу и жалею: ma tante, Надежда Васильевна, постоянно жалуется на тик, а папа на приливы...

– А другие, а все? – перебил он, – разве так живут? Спрашивали ли вы себя, отчего они терзаются, плачут, томятся, а вы нет? Отчего другим по три раза в день приходится тошно жить на свете, а вам нет? Отчего они мечутся, любят и ненавидят, а вы нет!..

– Вы про тех говорите, – спросила она, указывая головой на улицу, – кто там бегают, суется? Но вы сами сказали, что я не понимаю их жизни. Да, я не знаю этих людей и не понимаю их жизни. Мне дела нет...

– Дела нет! Ведь это значит дела нет до жизни! – почти закричал Райский, так что одна из теток очнулась на минуту от игры и сказала им громко: «Что вы все там спорите: не подеритесь!.. И о чем это они?»

– Опять «жизни»: вы только и твердите это слово, как будто я мертвая! Я предвижу, что будет дальше, – сказала она, засмеявшись, так что показались прекрасные зубы. – Сейчас дойдем до правил и потом... до любви.

– Нет, не отжил еще Олимп! – сказал он. – Вы, кухня, просто олимпийская богиня – вот и конец объяснению, – прибавил как будто с отчаянием, что не удастся ему всколебать это море. – Пойдемте в гостиную!

Он встал. Но она сидела.

– Вы не удостоиваете смертных снизойти до них, взглянуть на их жизнь, живете олимпийским неподвижным блаженством, вкушаете нектар и амброзию – и благо вам!

– Чего же еще: у меня все есть, и ничего мне не надо...

Она не успела кончить, как Райский вскочил.

– Вы высказали свой приговор сами, кухня, – напал он бурно на нее, – «у меня все есть, и ничего мне не надо»! А спросили ли вы себя хоть раз о том: сколько есть на свете людей, у которых ничего нет и которым все надо? Осмотритесь около себя: около вас шелк, бархат, бронза, фарфор. Вы не знаете, как и откуда является готовый обед, у крыльца ждет экипаж и везет вас на бал и в оперу. Десять слуг не дадут вам пожелать и исполняют почти ваши мысли... Не делайте знаков нетерпения: я знаю, что все это общие места... А думаете ли вы иногда, откуда это все берется и кем доставляется вам? Конечно, не думаете. Из деревни приходят от управляющего в контору деньги, а вам приносят на серебряном подносе, и вы, не считая, прячете в туалет...

– Тетушка десять раз сочтет и спрячет к себе, – сказала она, – а я, как институтка, выпрашиваю свою долю, и она выдает мне, вы знаете, с какими наставлениями.

– Да, но выдает. Вы выслушаете наставления и потом тратите деньги. А если б вы знали, что там, в зной, жнет беременная баба...

– Cousin! – с ужасом попробовала она остановить его, но это было не легко, когда Райский входил в пафос.

– Да, а ребятишек бросила дома – они ползают с курами, поросятами, и если нет какой-нибудь дряхлой бабушки дома, то жизнь их каждую минуту висит на волоске: от злой собаки, от проезжей телеги, от дождевой лужи... А муж ее бьется тут же, в бороздах на пашне, или тянется с обозом в трескучий мороз, чтоб добыть хлеба, буквально хлеба – утолить голод с семьей, и, между прочим, внести в контору пять или десять рублей, которые потом приносят вам на подносе... Вы этого не знаете: «вам дела нет», говорите вы...

На ее лицо легла тень непривычного беспокойства, недоумения.

– Чем же я тут виновата и что я могу сделать? – тихо сказала она, смиренно и без иронии.

– Я не проповедую коммунизма, кузина, будьте покойны. Я только отвечаю на ваш вопрос: «что делать», и хочу доказать, что никто не имеет права не знать жизни. Жизнь сама тронет, коснется, пробудит от этого блаженного усения – и иногда очень грубо. Научить «что делать» – я тоже не могу, не умею. Другие научат. Мне хотелось бы разбудить вас: вы спите, а не живете. Что из этого выйдет, я не знаю – но не могу оставаться и равнодушным к вашему сну.

– А вы сами, cousin, что делаете с этими несчастными: ведь у вас есть тоже мужики и эти... бабы? – спросила она с любопытством.

– Мало делаю, или почти ничего, к стыду моему или тех, кто меня воспитывал. Я давно вышел из опеки, а управляет все тот же опекун – и я не знаю как. Есть у меня еще бабушка в другом уголке – там какой-то клочок земли есть: в их руках все же лучше, нежели в моих. Но я по крайней мере не считаю себя вправе отговариваться неведением жизни – знаю кое-что, говорю об этом, вот хоть бы и теперь, иногда пишу, спорю – и все же делаю. Но, кроме того, я выбрал себе дело: я люблю искусство и... немного занимаюсь... живописью, музыкой... пишу... – досказал он тихо и смотрел на конец своего сапога.

– Это очень серьезно, что вы мне сказали! – произнесла она задумчиво. – Если вы не разбудили меня, то напугали. Я буду дурно спать. Ни тетушки, ни Paul, муж мой, никогда мне не говорили этого – и никто. Иван Петрович, управляющий, привозил бумаги, счета, я слышала, говорили иногда о хлебе, о неурожае. А... о бабах этих... и о ребятишках... никогда.

– Да, это mauvais genre!²⁶ Ведь при вас даже неловко сказать «мужик» или «баба», да еще беременная... Ведь «хороший тон» не велит человеку быть самим собой... Надо стереть с себя все свое и походить на всех!

– Когда-нибудь... мы проведем лето в деревне, cousin, – сказала она живее обыкновенного, – приезжайте туда, и... и мы не велим пускать ребятишек ползать с собаками – это прежде всего. Потом попросим Ивана Петровича не посылать... этих баб работать... Наконец, я не буду брать своих карманных денег...

– Ну, их положит в свой карман Иван Петрович. Оставим это, кузина. Мы дошли до политической и всякой экономии, до социализма и коммунизма – я в этом не силен. Довольно того, что я потревожил ваше спокойствие. Вы говорите, что дурно уснете – вот это и нужно: завтра не будет, может быть, этого сияния на лице, но зато оно засияет другой, не ангельской, а человеческой красотой. А со временем вы постараетесь узнать, нет ли и за вами какого-

²⁶ дурной тон! (фр.)

нибудь дела, кроме визитов и праздного спокойствия, и будете уже с другими мыслями глядеть и туда, на улицу. Представьте только себя там, хоть изредка: например, если б вам пришлось идти пешком в зимний вечер, одной взбираться в пятый этаж, давать уроки? Если б вы не знали, будет ли у вас топлена комната и выработаете ли вы себе на башмаки и на салоп, – да еще не себе, а детям? И потом убиваться неотступною мыслью, что вы сделаете с ними, когда упадут силы!.. И жить под этой мыслью, как под тучей, десять, двадцать лет...

– *C'est assez, cousin!*²⁷ – нетерпеливо сказала она. – Возьмите деньги и дайте туда...

Она указала на улицу.

– Сами учитесь давать, кузина; но прежде надо понять эти тревоги, поверить им, тогда выучитесь и давать деньги.

Оба замолчали.

– Так вот те *principes*...²⁸ А что дальше? – спросила она.

– Дальше... любить... и быть любимой...

– И что ж потом?

– Потом... «плодиться, множиться и населять землю»: а вы не исполняете этого завета...

Она покраснела и как ни крепилась, но засмеялась, и он тоже, довольный тем, что она сама помогла ему так определенительно высказаться о конечной цели любви.

– А если я любила? – отозвалась она.

– Вы? – спросил он, вглядываясь в ее бесстрастное лицо. – *Вы* любили и... страдали?

– Я была счастлива. Зачем непременно страдать?

– Вы оттого и не знаете жизни, не ведаете чужих скорбей: кому что нужно, зачем мужик обливается потом, баба жнет в нестерпимый зной – все оттого, что вы не любили! А любить, не страдая – нельзя. Нет! – сказал он, – если б лгал ваш язык, не солгали бы глаза, изменились бы хоть на минуту эти краски. А глаза ваши говорят, что вы как будто вчера родились...

– Вы поэт, артист, *cousin*, вам, может быть, необходимы драмы, раны, стоны, и я не знаю, что еще! Вы не понимаете покойной, счастливой жизни, я не понимаю вашей...

– Это я вижу, кузина; но поймете ли? – вот что хотел бы я знать! Любили и никогда не выходили из вашего олимпийского спокойствия?

Она отрицательно покачала головой.

– Как это вы делали, расскажите! Так же сидели, глядели на все покойно, так же, с помощью ваших двух фей, медленно одевались, покойно ждали кареты, чтоб ехать туда, куда рвалось сердце? не вышли ни разу из себя, тысячу раз не спросили себя мысленно, там ли он, ждет ли, думает ли? не изнемогли ни разу, не покраснели от напрасно потерянной минуты или от счастья, увидя, что он там? И не сбежала краска с лица, не являлся ни испуг, ни удивление, что его нет?

Она отрицательно покачала головой.

– Не приходилось вам обрадоваться, броситься к нему, не найти слов, когда он войдет вот сюда!..

– Нет, – сказала она с прежней усмешкой.

– А когда вы ложились спать...

В лице у ней появилось беспокойство.

– Не стоял он тут!.. – продолжал он.

– Что вы, *cousin*! – почти с ужасом сказала она.

– Не стоял он хоть в воображении у вас, не наклонялся к вам!..

– Нет, нет... – отвергала она, качая головой.

²⁷ Довольно, кузен! (*фр.*)

²⁸ принципы... (*фр.*)

– Не брал за руку, не раздавался поцелуй!..

Краска разлилась по ее щекам.

– Cousin, я была замужем, вы знаете... assez, assez, de grâce...²⁹

– Если б вы любили, кузина, – продолжал он, не слушая ее, – вы должны помнить, как дорого вам было проснуться после такой ночи, как радостно знать, что вы существуете, что есть мир, люди и он...

Она опустила длинные ресницы и дослушивала с нетерпением, шевеля концом ботинки.

– Если этого не было, как же вы любили, кузина? – заключил он вопросом.

– Иначе.

– Расскажите: зачем таить *возвышенную* любовь!..

– Не таю: в ней не было ничего ни таинственного, ни возвышенного, а так, как у всех...

– Ах, только не у всех, нет, нет! И если вы не любили и еще полюбите когда-нибудь, тогда что будет с вами, с этой скучной комнатой? Цветы не будут стоять так симметрично в вазах, и все здесь заговорит о любви.

– Довольно, довольно! – остановила она с полуулыбкой, не от скуки нетерпения, а под влиянием как будто утомления от раздражительного спора. – Я воображаю себе обеих тетюшек, если б в комнате поселился беспорядок, – сказала она, смеясь, – разбросанные книги, цветы – и вся улица смотрит свободно сюда!..

– Опять тетюшки! – упрекнул он. – Ни шагу без них! И всю жизнь так?

– Да..., конечно, – задумавшись, сказала она. – Как же?

– А сами что? Ужели ни одного свободного побуждения, собственного шага, каприза, шалости, хоть глупости!..

Она думала, казалось, припоминала что-то, потом вдруг улыбнулась и слегка покраснела.

– А! кузина, вы краснеете? значит, тетюшки не всегда сидели тут, не все видели и знали! Скажите мне, что такое! – умолял он.

– Я вспомнила в самом деле одну глупость и когда-нибудь расскажу вам. Я была еще девочкой. Вы увидите, что и у меня были и слезы, и трепет, и краска... et tout ce que vous aimez tant!³⁰ Но расскажу с тем, чтобы вы больше о любви, о страстях, о столах и воплях не говорили. А теперь пойдемте к тетюшкам.

Он вышел в гостиную, а она подошла к горке, взяла флакон, налила несколько капель одеколона на руку и задумчиво понюхала, потом оправилась у зеркала и вышла в гостиную.

Она села подле теток и стала пристально следить за игрою, а Райский за нею.

Она была покойна, свежа. А ему втеснилось в душу, напротив, беспокойство, желание узнать, что у ней теперь на уме, что в сердце, хотелось прочесть в глазах, затронул ли он хоть нервы ее; но она ни разу не подняла на него глаз. И потом уже, когда после игры подняла, заговорила с ним – все то же в лице, как вчера, как третьего дня, как полгода назад.

– Чем и как живет эта женщина! Если не гложет ее мука, если не волнуют надежды, не терзают заботы, – если она в самом деле «выше мира и страстей», отчего она не скучает, не томится жизнью... как скучаю и томлюсь я? Любопытно узнать!

²⁹ довольно, довольно, помилуйте... (фр.)

³⁰ и все, что вы так любите! (фр.)

V

– Ну, что ты сделал? – спросил Райский Аянова, когда они вышли на улицу.

– Сорок пять рублей выиграл: а ты?

Райский пожал плечами и передал содержание разговора с Софьей.

– Что ж: и это дело от безделья. Ну, и весело?

– Глупое слово: весело! Только дети и французы ухитряются веселиться: *s'amuser*.³¹

– Как же назвать то, что ты делаешь, – и зачем?

– Я уж сказал тебе зачем, – сердито отозвался Райский. – Затем, что красота ее увлекает, раздражает – и скуки нет – я наслаждаюсь – понимаешь? Вот у меня теперь шевелится мысль писать ее портрет. Это займет месяц, потом буду изучать ее...

– Смотри не влюбись, – заметил Аянов. – Жениться нельзя, говоришь ты, – а играть в страсти с ней тоже нельзя. Когда-нибудь так обожжешься...

– Кому ты это говоришь! – перебил Райский. – Как будто я не знаю! А я только и во сне, и наяву вижу, как бы обжечься. И если б когда-нибудь обжегся неизлечимою страстью, тогда бы и женился на той... Да нет: страсти – или излечиваются, или, если неизлечимы, кончаются не свадьбой. Нет для меня мирной пристани: или горение, или – сон и скука!

– И чем ты сегодня не являлся перед кузиной! Она тебя Чацким назвала... А ты был и Дон-Жуан и Дон-Кихот вместе. Вот умудрился! Я не удивлюсь, если ты наденешь рясу и начнешь вдруг проповедовать...

– И я не удивлюсь, – сказал Райский, – хоть рясы и не надену, а проповедовать могу – и искренно, всюду, где замечу ложь, притворство, злость – словом, отсутствие красоты, нужды нет, что сам бываю безобразен... Натура моя отзывается на все, только разбуди нервы – и пойдет играть!.. Знаешь что, Аянов: у меня давно засела серьезная мысль – писать роман. И я хочу теперь посвятить все свое время на это.

Аянов засмеялся.

– Серьезная мысль! – повторил он, – ты говоришь о романе, как о серьезном деле! А вправду: пиши, тебе больше нечего делать, как писать романы...

– Ты не смейся и не шути: в роман все уходит – это не то, что драма или комедия – это как океан: берегов нет, или не видать; не тесно, все уместится там. И знаешь, кто навел меня на мысль о романе: наша общая знакомая, помнишь Анну Петровну?

– Актрису?

– Да, это очень смешно. Она милая женщина и хитрая, и себе на уме в своих делах, как все женщины, когда они, как рыбы, не лезут из воды на берег, а остаются в воде, то есть в своей сфере...

– Ну, что же она?

– Ну, она рассказала – вот что про себя. Подходил ее бенефис, а пьесы не было: драматургов у нас немного: что у кого было, те обещали другим, а переводную ей давать не хотелось. Она и вздумала сочинить сама...

– Не боги горшки обжигают: пришло, видно, ей в голову, – сказал Аянов.

– Именно. И с какой милой наивностью поверяла она мне свои соображения. Например, говорит, в «Горе от ума» – *excusez du peu*³² – все лица самые обыкновенные люди, говорят о самых простых предметах, и случай взят простой: влюбился Чацкий, за него не выдали, полюбили другого, он узнал, рассердился и уехал. Отец рассердился на обоих, она на Молчалина – и все!.. И у Мольера, говорит, скупой – скуп, Тартюф – подлый лицемер. Можно даже,

³¹ развлекаться (*фр.*).

³² ни больше ни меньше (*фр.*).

говорит, придумать похитрее, поинтереснее интригу. Словом, комедия ей казалась так же мало серьезным делом, как тебе кажется роман. За трагедию она не бралась: тут она скромно сознавалась в своей несостоятельности. А за комедию взялась и в неделю написала листов десять: я просил показать – ни за что! «Что же, кончили?» – спросил я. «Как ни билась, не доходит до конца, говорит, лица все разговаривают и не могут перестать, так и бросила». Бедняжка! Жаль, что ей понадобилась комедия, в которой нужны и начало и конец, и завязка и развязка, а если б она писала роман, то, может быть, и не бросила бы. И лица у ней все разговаривали бы до сих пор. Я буду писать роман, Аянов. В романе укладывается вся жизнь, и целиком, и по частям.

– Своя или чужая? – спросил Аянов. – Ты этак, пожалуй, всех нас вставишь...

– Не беспокойся. Что хорошо под кистью, в другом искусстве не годится. Все зависит от красок и немногих соображений ума, яркости воображения и своеобразия во взгляде. Немного юмора, да чувства и искренности, да воздержности, да... поэзии...

Он замолчал и шел задумчиво.

– Excusez du peu! – повторил и Аянов. – Пиши, что взбрело на ум, что-нибудь да выйдет. Райский вздохнул.

– Нет, – сказал он, – нужно еще одно, я не упомянул: это... талант.

– Конечно, безграмотный не напишет...

– Ты грамотный, что ж ты не пишешь? – перебил Райский.

– Зачем? У меня есть что писать. Я дело пишу...

– Опять ты хвастаешься «делом»? Я думаю, если ты перестанешь писать – вот тогда и будет дело.

– А роман твой даст мне оклад в пять тысяч, да квартиру с отоплением, да чин, да!..

– И ты не стыдишься говорить это! Когда мы очеловечимся?

– Я стал очеловечиваться с тех пор, как начал получать по две тысячи, и теперь вот понимаю, что вопросы о гуманности неразрывны с экономическими...

– Знаю, знаю: но зачем ты так храбришься этим циническим эгоизмом?

Аянов собрался было запальчиво отвечать, но в эту минуту наезжала карета, кучер закричал им, и спор не пошел дальше.

– Так живопись – прощай! – сказал Аянов.

– Как прощай: а портрет Софьи!.. На днях начну. Я забросил академию и не видался ни с кем. Завтра пойду к Кирилову: ты его знаешь?

– Не помню, кажется, видел: нечесаный такой...

– Да, но глубокий, истинный художник, каких нет теперь: последний могиқан!.. напишу только портрет Софьи и покажу ему, а там попробую силы на романе. Я записывал и прежде кое-что: у меня есть отрывки, а теперь примусь серьезно. Это новый для меня род творчества; не удастся ли там?

– Послушай, Райский, сколько я тут понимаю, надо тебе бросить прежде не живопись, а Софью, и не делать романов, если хочешь писать их... Лучше пиши по утрам роман, а вечером играй в карты: по маленькой, в коммерческую... это не раздражает...

– А это-то и нужно для романа, то есть раздражение. Да – тронь я карты, так я стащу и с тебя пальто и проиграю. Есть своя бездна и там: слава Богу, я никогда не заглядывался в нее, а если загляну – так уж выйдет не роман, а трагедия. Впрочем, ты дело говоришь: двум господам служить нельзя! Дай мне кончить как-нибудь эту историю с Софьей, написать ее портрет, и тогда, под влиянием впечатления ее красоты, я, я... Вот пусть эта звезда, как ее... ты не знаешь? и я не знаю, ну да все равно, – пусть она будет свидетельницей, что я наконец слажу с чем-нибудь: или с живописью, или с романом. Роман – да! Смешать свою жизнь

с чужою, занести эту массу наблюдений, мыслей, опытов, портретов, картин, ощущений, чувств... une mer a boire!³³

Они молча шли. Аянов насвистывал, а Райский шел, склоня голову, думая то о Софье, то о романе. На перекрестке, где предстояло расходиться, Райский вдруг спросил:

– Когда же опять туда?

– Куда туда?

– А к Софье.

– Ты опять? а я думал, что ты уж работаешь над романом, и не мешал тебе.

– Я тебе сказал: жизнь – роман, и роман – жизнь.

– Чья жизнь?

– Всякая, даже твоя!

– В среду тетки звали играть.

– Долго, но нечего делать – до среды!

³³ грандиозная задача! (фр.)

VI

Райский лет десять живет в Петербурге, то есть у него там есть приют, три порядочные комнаты, которые он нанимает у немки и постоянно оставляет квартиру за собой, а сам редко полгода выживал в Петербурге с тех пор, как оставил службу.

А оставил он ее давно, как только вступил. Поглядевши вокруг себя, он вывел свое оригинальное заключение, что служба не есть сама цель, а только средство куда-нибудь девать кучу люда, которому без нее незачем бы родиться на свет. И если б не было этих людей, то не нужно было бы и той службы, которую они несут.

Его определил, сначала в военную, потом в статскую службу, опекун, он же и двоюродный дядя, затем прежде всего, чтоб сбыть всякую ответственность и упрек за небрежность в этом отношении, потом затем, зачем все посылают молодых людей в Петербург: чтоб не сидели празднo дома, «не баловались, не били баклуш» и т. п., – это цель отрицательная.

В Петербурге есть и выправка, и надзор, и работа; в Петербурге можно получить место прокурора, потом, со временем, и губернатора, – это цель положительная.

Потом уже, пожив в Петербурге, Райский сам решил, что в нем живут взрослые люди, а во всей остальной России – недоросли.

Но вот Райскому за тридцать лет, а он еще ничего не посеял, не пожал и не шел ни по одной колее, по каким ходят приезжающие изнутри России.

Он ни офицер, ни чиновник, не пробивает себе никакого пути трудом, связями, будто нарочно, наперекор всем, один остается недорослем в Петербурге. В квартале прописан он отставным коллежским секретарем.

Физиономисту трудно бы было определить по лицу его свойства, склонности и характер, потому что лицо это было неуловимо изменчиво.

Иногда он кажется так счастлив, глаза горят, и наблюдатель только что предположит в нем открытый характер, общительность и даже болтливость, как через час, через два, взглянув на него, поразится бледностью его лица, каким-то внутренним и, кажется, неисцелимым страданием, как будто он отроду не улыбнулся.

Он в эти минуты казался некрасив: в чертах лица разлад, живые краски лба и щек заменялись болезненным колоритом.

Но если покойный дух жизни тихо опять веял над ним, или попросту «находил на него счастливый стих», лицо его отражало запас силы воли, внутренней гармонии и самообладания, а иногда какой-то задумчивой свободы, какого-то идущего к этому лицу мечтательного оттенка, лежавшего не то в этом темном зрачке, не то в легком дрожании губ.

Нравственное лицо его было еще неуловимее. Бывали какие-то периоды, когда он «обнимал, по его выражению, весь мир», когда чарующею мягкостью открывал доступ к сердцу, и те, кому случалось попадать на эти минуты, говорили, что добрее, любезнее его нет.

Другим случалось попадать в несчастную пору, когда у него на лице выступали желтые пятна, губы кривились от нервной дрожи, и он тупым, холодным взглядом и резкой речью платил за ласку, за симпатию. Те отходили от него, унося горечь и вражду, иногда навсегда.

Какие это периоды, какие дни – ни другие, ни сам он не знал.

– Злой, холодный эгоист и гордец! – говорили попавшие в злую минуту.

– Помилуйте, он очарователен: он всех нас обворожил вчера, все без ума от него! – говорили другие.

– Актер! – твердили некоторые.

– Фальшивый человек! – возражали иные. – Когда чего-нибудь захочет достигнуть, откуда берутся речи, взгляды, как играет лицо!

– Помилуйте! это честнейшее сердце, благородная натура, но нервная, страстная, огненная и раздражительная! – защищали его два-три дружеские голоса.

И так в кругу даже близких знакомых его не сложилось о нем никакого определенного понятия, и еще менее образа.

И в раннем детстве, когда он воспитывался у бабушки, до поступления в школу, и в самой школе в нем проявлялись те же загадочные черты, та же неровность и неопределенность наклонностей.

Когда опекун привез его в школу и посадили его на лавку, во время класса, кажется, первым бы делом новичка было вслушаться, что спрашивает учитель, что отвечают ученики.

А он прежде всего воззрился в учителя: какой он, как говорит, как нюхает табак, какие у него брови, бакенбарды; потом стал изучать болтающуюся на животе его сердоликовую печатку, потом заметил, что у него большой палец правой руки раздвоен посередине и представляет подобие двойного ореха.

Потом осмотрел каждого ученика и заметил все особенности: у одного лоб и виски вогнуты внутрь головы, у другого мордастое лицо далеко выпятилось вперед, там вон у двоих, у одного справа, у другого слева, на лбу волосы растут вихорком и т. д., всех заметил и изучил, как кто смотрит.

Один с уверенностью глядит на учителя, просит глазами спросить себя, почешет колени от нетерпения, потом голову. А у другого на лице то выступает, то прячется краска – он сомневается, колеблется. Третий упрямо смотрит вниз, пораженный боязнью, чтоб его не спросили. Иной ковыряет в носу и ничего не слушает. Тот должен быть ужасный силач, а этот черненький – плут. И доску, на которой пишут задачи, заметил, даже мел и тряпку, которою стирают с доски. Кстати тут же представил и себя, как он сидит, какое у него должно быть лицо, что другим приходит на ум, когда они глядят на него, каким он им представляется?

– О чем я говорил сейчас? – вдруг спросил его учитель, заметив, что он рассеянно бродит глазами по всей комнате.

К удивлению его, Райский сказал ему от слова до слова, что он говорил.

– Что же это значит? – дальше спросил учитель.

Райский не знал: он так же машинально слушал, как и смотрел, и ловил ухом только слова.

Учитель повторил объяснение. Борис опять слушал, как раздавались слова: иное учитель скажет коротко и густо, точно оборвет, другое растянёт, будто пропоеет, вдруг слов десять посыплются, как орехи.

– Ну? – спросил учитель.

Райский покраснел, даже вспотел немного от страха, что не знает, в чем дело, и молчал. Это был учитель математики. Он пошел к доске, написал задачу, начал толковать.

Райский только глядел, как проворно и крепко пишет он цифры, как потом идет к нему прежде брюхо учителя с сердоликовой печаткой, потом грудь с засыпанной табаком манишкой. Ничего не ускользнуло от Райского, только ускользнуло решение задачи.

Кое-как он достиг дробей, достиг и до четырех правил из алгебры, когда же дело дошло до уравнений, Райский утомился напряжением ума и дальше не пошел, оставшись совершенно равнодушным к тому, зачем и откуда извлекают квадратный корень.

Учитель часто бился с ним и почти всякий раз со вздохом прибавлял:

– Садись на свое место, ты пустой малый!

Но когда на учителя находили игривые минуты и он, в виде забавы, выдумывал, а не из книги говорил свои задачи, не прибегая ни к доске, ни к грифелю, ни к правилам, ни к пинкам, – скорее всех, путем сверкающей в голове догадки, доходил до результата Райский.

У него в голове было свое царство цифр в образах: они по-своему строились у него там, как солдаты. Он придумал им какие-то свои знаки или физиономии, по которым они

становились в ряды, слагались, множились и делились; все фигуры их рисовались то знакомыми людьми, то походили на разных животных.

– Ну, не пустой ли малый! – восклицал учитель. – Не умеет сделать задачи указанным, следовательно, облегченным путем, а без правил наобум говорит. Глупее нас с тобой выдумывали правила!

Между тем писать выучился Райский быстро, читал со страстью историю, эпопею, роман, басню, выпрашивал, где мог, книги, но с фактами, а умозрений не любил, как вообще всего, что увлекало его из мира фантазии в мир действительный.

Из географии, в порядке, по книге, как проходили в классе, по климатам, по народам, никак и ничего он не мог рассказать, особенно когда учитель спросит:

– А ну-ка, перескажи все горы в Европе! – или: – все порты Средиземного моря.

Между тем вне класса начнет рассказывать о какой-нибудь стране или об океане, о городе – откуда что берется у него! Ни в книге этого нет, ни учитель не рассказывал, а он рисует картину, как будто был там, все видел сам.

– Да ты все врешь! – скажет иногда слушатель-скептик, – Василий Никитич этого не говорил!

Директор подслушал однажды, когда он рассказывал, как дикие ловят и едят людей, какие у них леса, жилища, какое оружие, как они сидят на деревьях, охотятся за зверями, даже начал представлять, как они говорят горлом.

– Пустяки молоть мастер, – сказал ему директор, – а на экзамене не мог рассказать системы рек! Вот я тебя высеку, погоди! Ничем не хочет серьезно заняться: пустой мальчишка! – И дернул его за ухо.

Райский смотрел, как стоял директор, как говорил, какие злые и холодные у него были глаза, разбирал, отчего ему стало холодно, когда директор тронул его за ухо, представил себе, как поведут его сечь, как у Севастьянова от испуга вдруг побелеет нос, и он весь будто похудеет немного, как Боровиков задрожит, запрыгает и захихикает от волнения, как добрый Масляников, с плачущим лицом, бросится обнимать его и прощаться с ним, точно с осужденным на казнь. Потом, как его будут раздевать и у него похолодеет сначала у сердца, потом руки и ноги, как он не сможет сам лечь, а положит его тихонько сторож Сидорыч...

Он слышал мысленно свой визг, видел болтающиеся ноги и вздрогнул...

У него упали нервы: он перестал есть, худо спал. Он чувствовал оскорбление от одной угрозы, и ему казалось, что если она исполнится, то это унесет у него все хорошее, и вся его жизнь будет гадка, бедна и страшна, и сам он станет, точно нищий, всеми брошенный, презренный.

В это время, как будто нарочно пришлось, священник толковал историю Иова, всеми оставленного на куче навоза, страждущего...

Райский расплакался, его прозвали «нюней». Он приуныл, три дня ходил мрачный, так что узнать нельзя было: он ли это? ничего не рассказывал товарищам, как они ни приставали к нему.

Так было до воскресенья. А в воскресенье Райский поехал домой, нашел в шкафе «Освобожденный Иерусалим» в переводе Москотильникова, и забыл об угрозе, и не тронулся с дивана, наскоро пообедал, опять лег читать до темноты. А в понедельник утром унес книгу в училище и тайком, торопливо и с жадностью, дочитывал и, дочитавши, недели две рассказывал читанное то тому, то другому.

Снились ему такие горячие сны о далеких странах, о необыкновенных людях в латах, и каменистые пустыни Палестины блистали перед ним своей сухой, страшной красотой: эти пески и зной, эти люди, которые умели жить такой крепкой и трудной жизнью и умирать так легко!

Он содрогался от желания посидеть на камнях пустыни, разрубить сарацина, томиться жаждой и умереть без нужды, для того только, чтоб видели, что он умеет умирать. Он не спал ночей, читая об Армиде, как она увлекла рыцарей и самого Ринальда.

«Какая она?» – думалось ему – и то казалась она ему теткой Варварой Николаевной, которая ходила, покачивая головой, как игрушечные коты, и прищуривала глаза, то в виде жены директора, у которой были такие белые руки и острый, пронзительный взгляд, то тринадцатилетней, припрыгивающей, хорошенькой девочкой в кружевных панталончиках, дочерью полицмейстера.

Он сжимался в комок и читал жадно, почти не переводя духа, но внутренне разрываясь от волнения, и вдруг в неистовстве бросал книгу и бегал как потерянный, когда храбрый Ринальд или, в романе мадам Коттен, Малек-Адель изнывали у ног волшебницы.

То вдруг случайно воображение унесет его в другую сторону, с каким-нибудь Оссианом: там другая жизнь, другие картины, еще величавее, хотя и суровее тех, и еще необыкновеннее.

И все это, непохожее на текущую жизнь около него, захватывало его в свою чудесную сферу, от которой он отрезвлялся, как от хмеля.

После долго ходил он бледен и скучен, пока опять чужая жизнь и чужие радости не вспрыснут его, как живой водой.

Дядя давал ему истории четырех Генрихов, Людовиков до XVIII и Карлов до XII включительно, но все это уже было для него, как пресная вода после рома. На минуту только разбудили его Иоанны III и IV да Петр.

Он бросался к Плутарху, чтоб только дальше уйти от современной жизни, но и тот казался ему сух, не представлял рисунка, картин, как те книги, потом как Телемак, а еще потом – как «Илиада».

Между товарищами он был очень странен: они тоже не знали, как понимать его. Симпатии его так часто менялись, что у него не было ни постоянных друзей, ни врагов.

Эту неделю он привяжется к одному, ищет его везде, сидит с ним, читает, рассказывает ему, шепчет. Потом ни с того ни с сего вдруг бросит его и всматривается в другого и, всмотревшись, опять забывает.

Рассердит ли его какой-нибудь товарищ, некстати скажет ему что-нибудь, он надуется, даст разыграться злым чувствам во все формы упорной вражды, хотя самая обида побледнеет, забудется причина, а он длит вражду, за которой следит весь класс и больше всех он сам.

Потом он отыскивал в себе кротость, великодушие и вздрагивал от живого удовольствия проявить его; устраивалась сцена примирения, с достоинством и благородством, и занимала всех, пуще всех его самого.

Он как будто смотрел на все это со стороны и наслаждался, видя и себя, и другого, и всю картину перед собой.

А когда все кончалось, когда шум, чад, вся трескотня выходили из него, он вдруг очнется, окинет все удивленными глазами, и внутренний голос спросит его: зачем это? Он пожмет плечами, не зная сам зачем.

Иногда, напротив, он придет от пустяков в восторг: какой-нибудь сытый ученик отдаст свою булку нищему, как делают добродетельные дети в хрестоматиях и прописях, или примет на себя чужую шалость, или покажется ему, что накупившийся ученик думает глубокую думу, и он вдруг возгорится участием к нему, говорит о нем со слезами, отыскивает в нем что-то таинственное, необычайное, окружит его уважением: и другие заразятся неисповедимым почтением.

Но через неделю товарищи встанут в одно прекрасное утро, с восторженными речами о фениксе подойдут к Райскому, а он расхохочется.

– Этакую дрянь нашли, да и нянчатся! Пошел ты прочь, жалкое создание! – скажет он.

Все и рты разинут, и он стыдится своего восторга. Луч, который падал на «чудо», уже померк, краски пропали, форма изнасилась, и он бросал – и искал жадными глазами другого явления, другого чувства, зрелища, и если не было – скучал, был желчен, нетерпелив или задумчив.

По выходе из училища действительная жизнь мало увлекала его в свой поток и своей веселой стороной, и суровой деятельностью. Позовет ли его опекун посмотреть, как молотят рожь, или как валяют сукно на фабрике, как белят полотна, – он увертывался и забирался на бельведер смотреть оттуда в лес или шел на реку, в кусты, в чащу, смотрел, как возятся насекомые, остро глядел, куда порхнула птичка, какая она, куда села, как почесала носик; поймает ежа и возится с ним; с мальчишками удит рыбу целый день или слушает полоумного старика, который живет в землянке у околицы, как он рассказывает про «Пугача», – жадно слушает подробности жестоких мук, казней и смотрит прямо ему в рот без зубов и в глубокие впадины потухающих глаз.

По целым часам, с болезненным любопытством, следит он за лепетом «испорченной Феклушки». Дома читает всякие пустяки. «Саксонский разбойник» попадется – он прочтет его; вытащит Эккертсгаузена и фантазией допросится, сквозь туман, ясных выводов; десять раз прочел попавшийся экземпляр «Тристрама Шенди»; найдет какие-нибудь «Тайны восточной магии» – читает и их; там русские сказки и былины, потом вдруг опять бросится к Оссиану, к Тассу и Гомеру или уплывет с Куком в чудесные страны.

А если нет ничего, так лежит, неподвижно по целым дням, но лежит, как будто трудную работу делает: фантазия мчит его дальше Оссиана, Тасса и даже Кука – или бьет лихорадкой какого-нибудь встречного ощущения, мгновенного впечатления, и он встанет усталый, бледный, и долго не придет в нормальное положение.

– Лентяй, лежебока! – говорят кругом его.

Он пугался этих приговоров, плакал втихомолку и думал иногда с отчаянием, отчего он лентяй и лежебока? «Что я такое? что из меня будет?» – думал он и слышал суровое: «Учись, вон как учатся Саврасов, Ковригин, Малюев, Чудин, – первые ученики!»

Они равно хорошо учатся и из математики, и из истории, сочиняют, чертят, рисуют и языки знают, и все – счастливы! Их все уважают, они так гордо смотрят, так покойно спят, всегда одинаковы.

А он сегодня бледен, молчит как убитый, – завтра скачет и поет, бог знает отчего.

Всего пуще пугало его и томило обидное сострадание сторожа Сидорыча, и вместе трогало своей простотой. Однажды он не выучил два урока сряду и завтра должен был остаться без обеда, если не выучит их к утру, а выучить было некогда, все легли спать.

Сидорыч тихонько встал, вздул свечу и принес Райскому из класса книгу.

– Учи, батюшка, – сказал он, – пока они спят. Никто не увидит, а завтра будешь знать лучше их: что они в самом деле обижают тебя, сироту!

У Райского брызнули слезы и от этой обиды, и от доброты Сидорыча. Он взглянул, как храпят первые ученики, и не выучил урока – от гордости.

Зато, если задето его самолюбие, затронуты нервы, тогда он одним взглядом в книгу как будто снимет фотографию с урока, запомнит столбцы цифр, отгадает задачу – и вдруг блеснет, как фейерверк, и изумит весь класс, иногда и учителя.

«Притворяется!» – думают ученики. «Какие способности у этого лентяя!» – подумает учитель.

Он чувствовал и понимал, что он не лежебока и не лентяй, а что-то другое, но чувствовал и понимал он один, и больше никто, – но не понимал, что же он такое именно, и некому было растолковать ему это, и разъяснить, нужно ли ему учить математику или что-нибудь другое.

В службе название пустого человека привинтилось к нему еще крепче. От него не добились ни одной докладной записки, никогда не прочел он ни одного дела, между тем вносил веселье, смех и анекдоты в ту комнату, где сидел. Около него всегда куча народу.

Но мысль о деле, если только она не проходила через доклад, как, бывало, русский язык через грамматику, а сказанная среди шуток и безделья, для него как-то ясна, лишь бы не доходило дело до бумаг.

Он озадачивал новизной взгляда чиновников. Столоначальник, слушая его, с усмешкой отбирал у него какую-нибудь заданную ему бумагу и отдавал другому.

– Напишите, пожалуйста, вот это предписание, – говорил он, – пока Борис Павлович рисует свой проект!

Столоначальник был прав: Райский рисовал и дело, как картину, или оно так рисовалось у него в голове.

Воображение его вспыхивало, и он путем сверкнувшей догадки схватывал тень, верхушку истины, дорисовывал остальное и уже не шел долгим опытом и трудом завоевывать прочную победу.

Он уже был утомлен, он шел дальше, глаза и воображение искали другого, и он летел на крыльях фантазии, через пропасти, горы, океаны, переходимые и переплываемые толпой мужественно и терпеливо.

Он и знание – не знал, а как будто видел его у себя в воображении, как в зеркале, готовым, чувствовал его и этим довольствовался; а узнавать ему было скучно, он отталкивал наскучивший предмет прочь, отыскивая вокруг нового, живого, поразительного, чтоб в нем самом все играло, билось, трепетало и отзывалось жизнью на жизнь.

Вокруг его не было никого, кто направил бы эти жадные порывы любознательности в определенную колею.

В одном месте опекун, а в другом бабушка смотрели только, – первый, чтобы к нему в положенные часы ходили учителя или чтоб он не пропускал уроков в школе; а вторая, чтоб он был здоров, имел аппетит и сон, да чтоб одет он был чисто, держал себя опрятно, и чтоб, как следует благовоспитанному мальчику, «не связывался со всякой дрянью».

А что он читал там, какие книги, в это не входили, и бабушка отдала ему ключи от отцовской библиотеки в старом доме, куда он запирался, читая попеременно то Спинозу, то роман Коттен, то св. Августина, а завтра вытащит Вольтера или Парни, даже Боккачио.

Искусства дались ему лучше наук. Правда, он и тут затеял пустяки: учитель недели на две посадил весь класс рисовать зрочки, а он не утерпел, приделал к зрочку нос и даже начал было тушевать усы, но учитель застал его и сначала дернул за вихор, потом, взглядевшись, сказал:

– Где ты учился?

– Нигде, – был ответ.

– А хорошо, брат, только видишь, что значит вперед забегать: лоб и нос – хоть куда, а ухо вон где посадил, да и волосы точно мочала вышли.

Но Райский торжествовал: «Хорошо, брат: лоб и нос хоть куда!» – было для него лавровым венком.

Он гордо ходил один по двору, в сознании, что он лучше всех, до тех пор, пока на другой день публично не осрамился в «серьезных предметах».

Но к рисованию он пристрастился и, через месяц после «зрочков», копировал кудрявого мальчика, потом голову Фингала.

Заветной мечтой его была женская головка, висевшая на квартире учителя. Она поникла немного к плечу и смотрела томно, задумчиво вдаль.

– Позвольте мне вот с этой нарисовать копию! – робко, нежно звучащим голосом девочки и с нервной дрожью верхней губы просил он учителя.

– А если стекло разобьешь? – сказал учитель, однако дал ему головку.

Борис был счастлив. Когда он приходил к учителю, у него всякий раз ёкало сердце при взгляде на головку. И вот она у него, он рисует с нее.

В эту неделю ни один серьезный учитель ничего от него не добился. Он сидит в своем углу, рисует, стирает, тушует, опять стирает или молча задумается; в зрачке ляжет синева, и глаза покроются будто туманом, только губы едва-едва заметно шевелятся, и в них переливается розовая влага.

На ночь он уносил рисунок в дортуар, и однажды, вглядываясь в эти нежные глаза, следя за линией наклоненной шеи, он вздрогнул, у него сделалось такое замиранье в груди, так захватило ему дыхание, что он в забытьи, с закрытыми глазами и невольным, чуть сдержанным стоном, прижал рисунок обеими руками к тому месту, где было так тяжело дышать. Стекло хрустнуло и со звоном полетело на пол...

Нарисовав эту головку, он уже не знал предела гордости. Рисунок его выставлен с рисунками старшего класса на публичном экзамене, и учитель мало поправлял, только кое-где слабые места покрыл крупными, крепкими штрихами, точно железной решеткой, да в волосах прибавил три, четыре черные полосы, сделал по точке в каждом глазу – и глаза вдруг стали смотреть точно живые.

«Как это он? и отчего так у него вышло живо, смело, прочно?» – думал Райский, зорко вглядываясь и в штрихи и в точки, особенно в две точки, от которых глаза вдруг ожили. И много ставил он потом штрихов и точек, все хотел схватить эту жизнь, огонь и силу, какая была в штрихах и полосах, так крепко и уверенно начерченных учителем. Иногда он будто и ловил эту тайну, и опять ускользала она у него.

Но чертить зрачки, носы, линии лба, ушей и рук по сту раз – ему было до смерти скучно.

Он рисует глаза кое-как, но заботится лишь о том, чтобы в них повторились учительские точки, чтоб они смотрели точно живые. А не удастся, он бросит все, уныло облокотится на стол, склонит на локоть голову и оседлает своего любимого коня, фантазию, или конь оседлает его, и мчится он в пространстве, среди своих миров и образов.

Упиваясь легким успехом, он гордо ходил: «Талант, талант!» – звучало у него в ушах. Но вскоре все уже знали, как он рисует, перестали ахать, и он привык к успеху.

В деревне он опять пристрастился было к рисованию, делал портреты с горничных, с кучера, потом с деревенских мужиков.

Полоумную Феклушку нарисовал в пещере, очень удачно осветив одно лицо и разбросанные волосы, корпус же скрывался во мраке: ни терпенья, ни умения не хватило у него доделывать руки, ноги и корпус. И как целое утро высидеть, когда солнце так весело и щедро льет лучи на луг и реку...

Вон, никак, от соседей скачет человек, верно, танцевать будут...

Дня через три картина бледнела, и в воображении теснится уже другая. Хотелось бы нарисовать хоровод, тут же пьяного старика и проезжую тройку. Опять дня два носится он с картиной: она как живая у него. Он бы нарисовал мужика и баб, да тройку не сумеет: лошадей «не проходили в классе».

Через неделю и эта картина забывалась и снова заменялась другою...

Музыку он любил до опьянения. В училище тупой, презираемый первыми учениками мальчик Васюков был предметом постоянной нежности Райского.

Все, бывало, дергают за уши Васюкова: «Пошел прочь, дурак, дубина!» – только и слышит он. Лишь Райский глядит на него с умилением, потому только, что Васюков, ни к чему не внимательный, сонный, вялый, даже у всеми любимого русского учителя не выучивший никогда ни одного урока, – каждый день после обеда брал свою скрипку и, положив на нее подбородок, водил смычком, забывая школу, учителей, щелчки.

Глаза его ничего не видали перед собой, а смотрели куда-то в другое место, далеко, и там он будто видел что-то особенное, таинственное. Глаза его становились дики, суровы, а иногда точно плакали.

Против него садился Райский и с удивлением глядел на лицо Васюкова, следил, как, пока еще с тупым взглядом, достает он скрипку, вяло берет смычок, намажет его канифолью, потом сначала пальцем тронет струны, повинтит винты, опять тронет, потом поведет смычком – и все еще глядит сонно. Но вот заиграл – и проснулся, и улетел куда-то.

Васюкова нет, явился кто-то другой. Зрачки у него расширяются, глаза не мигают больше, а все делается прозрачнее, светлее, глубже и смотрят гордо, умно, грудь дышит медленно и тяжело. По лицу бродит нега, счастье, кожа становится нежнее, глаза синеют и льют лучи: он стал прекрасен.

Райский начал мысленно глядеть, куда глядит Васюков, и видеть, что он видит. Не стало никого вокруг: ни учеников, ни скамей, ни шкафов. Все это закрылось точно туманом.

После нескольких звуков открывалось глубокое пространство, там являлся движущийся мир, какие-то волны, корабли, люди, леса, облака – все будто плыло и несло мимо его в воздушном пространстве. И он, казалось ему, все рос выше, у него занимало дух, его будто щекотали, или купался он...

И сон этот длился, пока длились звуки.

Вдруг стук, крик, толчок какой-нибудь будил его, будил Васюкова. Звуков нет, миры пропали, он просыпался: кругом – ученики, скамьи, столы – и Васюков укладывает скрипку, кто-нибудь дергает его уж за ухо. Райский с яростью бросается бить забияк, а потом долго ходит задумчивый.

Нервы поют ему какие-то гимны, в нем плещется жизнь, как море, и мысли, чувства, как волны, переливаются, сталкиваются и несутся куда-то, бросают кругом брызги, пену.

В звуках этих он слышит что-то знакомое; носится перед ним какое-то воспоминание, будто тень женщины, которая держала его у себя на коленях.

Он роется в памяти и смутно дорывается, что держала его когда-то мать, и он, прижавшись щекой к ее груди, следил, как она перебирала пальцами клавиши, как носились плачущие или резвые звуки, слышал, как билось у ней в груди сердце.

Фигура женщины яснее и яснее оживала в памяти, как будто она вставала в эти минуты из могилы и являлась точно живая.

Он помнит, как, после музыки, она всю дрожь наслаждения сосредоточивала в горячем поцелуе ему. Помнит, как она толковала ему картины: кто этот старик с лирой, которого, немая, слушает гордый царь, боясь пошевелиться, – кто эта женщина, которую кладут на плаху.

Потом помнит он, как она водила его на Волгу, как по целым часам сидела, глядя вдаль, или указывала ему на гору, освещенную солнцем, на кучу темной зелени, на плывущие суда.

Он смотрит, как она неподвижно глядела, как у ней тогда глаза были прозрачны, глубоки, хороши... «точно у Васюкова», – думал он.

Стало быть, и она видела в этой зелени, в течении реки, в синем небе то же, что Васюков видит, когда играет на скрипке... Какие-то горы, моря, облака... «И я вижу их!..»

Заиграет ли женщина на фортепиано, гувернантка у соседей, Райский бежал было перед этим удить рыбу, – но раздались звуки, и он замирал на месте, разинув рот, и прятался за стулом играющей.

Его не стало, он куда-то пропал, опять его несет кто-то по воздуху, опять он растет, в него льется сила, он в состоянии поднять и поддержать свод, как тот, которого Геркулес сменил.³⁴

³⁴ Имеется в виду один из персонажей греческой мифологии, исполин Атлант, державший на своих плечах небесный

Звуки почти до боли ударяют его по груди, проникают до мозга – у него уже мокрые волосы, глаза...

Вдруг звуки умолкли, он очнется, застыдится и убежит.

Он стал было учиться, сначала на скрипке у Васюкова, – но вот уже неделю водит смычком взад и вперед: *a, c, g*, тянет за ним Васюков, а смычок дерет ему уши. То захватит он две струны разом, то рука дрожит от слабости: – нет! Когда же Васюков играет – точно по маслу рука ходит.

Две недели прошло, а он забудет то тот, то другой палец. Ученики бранятся.

– Ну вас к черту! – говорит первый ученик. – Тут серьезным делом заниматься надо, а они пилят!

Райский бросил скрипку и стал просить опекуна учить его на фортепиано.

«На фортепиано легче, скорей», – думал он.

Тот нанял ему немца, но, однако ж, решился поговорить с ним серьезно.

– Послушай, Борис, – начал он, – к чему ты готовишь себя, я давно хотел спросить тебя?

Райский не понял вопроса и молчал.

– Тебе шестнадцатый год, – продолжал опекун, – пора о деле подумать, а ты до сих пор, как я вижу, еще не подумал, по какой части пойдешь в университете и в службе. По военной трудно: у тебя небольшое состояние, а служить ты по своей фамилии должен в гвардии.

Райский молчал и смотрел в окно, как петухи дерутся, как свинья роется в навозе, как кошка подкрадывается к голубю.

– Я тебе о деле, а ты вон куда глядишь! К чему ты готовишься?

– Я, дядюшка, готовлюсь в артисты.

– Что-о?

– Художником быть хочу, – подтвердил Райский.

– Черт знает что выдумал! Кто ж тебя пустит? Ты знаешь ли, что такое артист? – спросил он.

Райский молчал.

– Артист – это такой человек, который или денег у тебя займет, или наврет такой чепухи, что на неделю тумана наведет... В артисты!.. Ведь это, – продолжал он, – значит беспутное, цыганское житье, адская бедность в деньгах, платье, в обуви, и только богатство мечты! Витают артисты, как птицы небесные, на чердаках. Видал я их в Петербурге: это те хватают, что в каких-то фантастических костюмах собираются по вечерам лежать на диванах, курят трубки, несут чепуху, читают стихи и пьют много водки, а потом объявляют, что они артисты. Они нечесаны, неопрятны...

– Я слышал, дядюшка, что художники теперь в большом уважении. Вы, может быть, старое время вспоминаете. Из академии выходят знаменитые люди...

– Я не очень стар и видел свет, – возразил дядя, – ты слышал, что звонят, да не знаешь, на какой колокольне. Знаменитые люди! Есть артисты, и лекаря есть тоже знаменитые люди: а когда они знаменитыми делаются, спроси-ка? Когда в службе состоят и дойдут до тайного советника! Собор выстроит или монумент на площади поставит – вот его и пожалуют! А начинают они от бедности, из куска хлеба – спроси: все большею частью вольноотпущенные, мещане или иностранцы, даже жида. Их неволя гонит в художники, вот они и напирают на искусство. А ты – Райский! У тебя земля и готовый хлеб. Конечно, для общества почему не иметь приятных талантов: сыграть на фортепиано, нарисовать что-нибудь в альбом, спеть романс... Вот я тебе и немца нанял. Но быть артистом по профессии – что за блажь! Слышал ли ты когда-нибудь, чтоб нарисовал картину какой-нибудь князь, граф или статую слепил старый дворянин... нет: отчего это!..

– А Рубенс? – вдруг перебил Райский, – он был придворный, посланник...

– Куда хватил, это лет двести назад! – сказал опекун, – там, у немцев... А ты поступишь в университет, в юридический факультет, потом служи в Петербурге, учись делу, добивайся прокурорского места, а родня выведет тебя в камер-юнкеры. И если не будешь дремать, то с твоим именем и родством тридцати лет будешь губернатором. Вот твоя карьера! Но вот беда, я не вижу, чтоб у тебя было что-нибудь серьезное на уме: удишь с мальчишками рыбу, вон болото нарисовал, пьяного мужика у кабака... Ходишь по полям и в лес, а хоть бы раз спросил мужика, какой хлеб когда сеют, почему продают!.. ничего! И хозяина не обещаешь!

Дядя вздохнул, и Райский приуныл: дядино поученье безотрадно подействовало только на его нервы.

Учитель-немец, как Васюков, прежде всего исковеркал ему руки и начал притопывать ногой и напевать, следя за каждым ударом по клавишу: а-а-у-у-о-о.

Только совестясь опекуна, не бросал Райский этой пытки, и кое-как в несколько месяцев удалось ему сладить с первыми шагами. И то он все капризничал: то играл не тем пальцем, которым требовал учитель, а каким казалось ему ловчее, не хотел играть гамм, а ловил ухом мотивы, какие западут в голову, и бывал счастлив, когда удавалось ему уловить ту же экспрессию или силу, какую слышал у кого-нибудь и поразился ею, как прежде поразился штрихами и точками учителя.

А с нотами не дружился, не проходил постепенно одну за другою запыленные, пожелтевшие, приносимые учителем тетради музыкальной школы. Но часто он задумывался, слушая свою игру, и мурашки бегали у него по спине.

Вдалеке виделась уже ему наполненная зала, и он своей игрой потрясал стены и сердца знатоков. Женщины с горящими щеками слушали его, и его лицо горело стыдливым торжеством...

Он тихонько утирал слезы, катившиеся по щекам, горел, млел от своей мечты.

Когда наконец он одолел, с грехом пополам, первые шаги, пальцы играли уже что-то свое, играли они ему эту, кажется, залу, этих женщин, и трепет похвал, – а трудной школы не играли.

Скоро он перегнал розовеньких уездных барышень и изумлял их силою и смелостью игры, пальцы бегали свободно и одушевленно. Они еще сидят на каком-то допотопном рондо да на сонатах в четыре руки, а он перескочил через школу и через сонаты, сначала на кадрили, на марши, а потом на оперы, проходя курс по своей программе, продиктованной воображением и слухом.

Он услышит оркестр, затвердит то, что увлекло его, и повторяет мотивы, упиваясь удивлением барышень: он был первый; лучше всех; немец говорит, что способности у него быстрые, удивительные, но лень еще удивительнее.

Но это не беда: лень, небрежность как-то к лицу артистам. Да еще кто-то сказал ему, что при таланте не нужно много и работать, что работают только бездарные, чтобы вымучить себе кропотливо жалкое подобие могучего и всепобедного дара природы – таланта.

VII

Райский вышел из гимназии, вступил в университет и в одно лето поехал на каникулы к своей двоюродной бабушке, Татьяне Марковне Бережковой.

Бабушка эта жила в родовом маленьком имении, доставшемся Борису от матери. Оно все состояло из небольшой земли, лежащей вплоть у города, от которого отделялось полем и слободой близ Волги, из пятидесяти душ крестьян, да из двух домов – одного каменного, оставленного и запущенного, и другого деревянного домика, выстроенного его отцом, и в этом-то домике и жила Татьяна Марковна с двумя, тоже двоюродными, внуками-сиротами, девочками по седьмому и шестому году, оставленными ей двоюродной племянницей, которую она любила, как дочь.

У бабушки был свой капитал, выделенный ей из семьи, своя родовая деревенька; она осталась девушкой, и после смерти отца и матери Райского, ее племянника и племянницы, поселилась в этом маленьком имении. Она управляла им, как маленьким царством, мудро, экономично, кропотливо, но деспотически и на феодальных началах. Опекуну она не давала сунуть носа в ее дела и, не признавая никаких документов, бумаг, записей и актов, поддерживала порядок, бывший при последних владельцах, и отзывалась в ответ на письма опекуна, что все акты, записи и документы записаны у ней на совести, и она отдаст отчет внуку, когда он вырастет, а до тех пор, по словесному завещанию отца и матери его, она полная хозяйка.

Тот пожал плечами и махнул рукой, потому что имение небольшое, да и в руках такой хозяйки, как бабушка, лучше сбережется.

К ней-то приехал Райский, вступив в университет, – побывать и проститься, может быть, надолго.

Какой эдем распахнулся ему в этом уголке, откуда его увезли в детстве и где потом он гостил мальчиком иногда, в летние каникулы. Какие виды кругом – каждое окно в доме было рамой своей особенной картины!

С одной стороны Волга с крутыми берегами и Заволжьем; с другой – широкие поля, обработанные и пустые, овраги, и все это замыкалось далью синевших гор. С третьей стороны видны села, деревни и часть города. Воздух свежий, прохладный, от которого, как от летнего купанья, пробегает по телу дрожь бодрости.

Дом весь был окружен этими видами, этим воздухом, да полями, да садом. Сад обширный около обоих домов, содержащийся в порядке, с темными аллеями, беседкой и скамьями. Чем далее от домов, тем сад был запущеннее.

Подле огромного развесистого вяза, с сгнившей скамьей, толпились вишни и яблони; там рябина; там шла кучка лип, хотела было образовать аллею, да вдруг ушла в лес и братски перепуталась с ельником, березняком. И вдруг все кончалось обрывом, поросшим кустами, идущими почти на полверсты берегом до Волги.

Подле сада, ближе к дому, лежали огороды. Там капуста, репа, морковь, петрушка, огурцы, потом громадные тыквы, а в парнике арбузы и дыни. Подсолнечники и мак, в этой массе зелени, делали яркие, бросающиеся в глаза, пятна; около тычинок вились турецкие бобы.

Перед окнами маленького домика пестрел на солнце большой цветник, из которого вела дверь во двор, а другая, стеклянная дверь, с большим балконом, вроде веранды, в деревянный жилой дом.

Татьяна Марковна любила видеть открытое место перед глазами, чтоб не походило на трущобу, чтоб было солнышко да пахло цветами.

С другой стороны дома, обращенной к дворам, ей было видно все, что делается на большом дворе, в людской, в кухне, на сеновале, в конюшне, в погребах. Все это было у ней перед глазами как на ладони.

Один только старый дом стоял в глубине двора, как бельмо в глазу, мрачный, почти всегда в тени, серый, полинявший, местами с забитыми окнами, с поросшим травой крыльцом, с тяжелыми дверьми, замкнутыми тяжелыми же задвижками, но прочно и массивно выстроенный. Зато на маленький домик с утра до вечера жарко лились лучи солнца, деревья отступили от него, чтоб дать ему простора и воздуха. Только цветник, как гирлянда, обвивал его со стороны сада, и махровые розы, далии и другие цветы так и просились в окна.

Около дома вились ласточки, свившие гнезда на кровле; в саду и роще водились малиновки, иволги, чижи и щеглы, а по ночам щелкали соловьи.

Двор был полон всякой домашней птицы, разношерстных собак. Утром уходили в поле и возвращались к вечеру коровы и козел с двумя подругами. Несколько лошадей стояли почти праздно в конюшнях.

Над цветами около дома реяли пчелы, шмели, стрекозы, трепетали на солнышке крыльями бабочки, по углам жались, греясь на солнышке, кошки, котят.

В доме какая радость и мир жили! Чего там не было? Комнатки маленькие, но уютные, с старинной, взятой из большого дома мебелью дедов, дядей, и с улыбавшимися портретами отца и матери Райского, и также родителей двух оставшихся на руках у Бережковой девочек-малюток.

Полы были выкрашены, натерты воском и устланы клеенками; печи обложены пестрыми старинными, тоже взятыми из большого дома, изразцами. Шкафы битком набиты старой, дрожавшей от шагов, посудой и звеневшим серебром.

На виду красовались старинные саксонские чашки, пастушки, маркизы, китайские уродцы, бочкообразные чайники, сахарницы, тяжелые ложки. Кругленькие стулья, с медными ободочками и с деревянной мозаикой столы, столики жались по уютным углам.

В кабинете Татьяны Марковны стояло старинное, тоже окованное бронзой и украшенное резьбой, бюро с зеркалом, с урнами, с лирами, с гениями.

Но бабушка завесила зеркало. «Мешает писать, когда видишь свою рожу напротив», – говорила она.

Еще там был круглый стол, на котором она обедала, пила чай и кофе, да довольно жесткое, обитое кожей старинное же кресло, с высокой спинкой рококо.

Бабушка, по воспитанию, была старого века и разваливаться не любила, а держала себя прямо, с свободной простотой, но и с сдержанным приличием в манерах, и ног под себя, как делают нынешние барыни, не поджимала. «Это стыдно женщине», – говорила она.

Какой она красавицей показалась Борису, и в самом деле была красавица.

Высокая, не полная и не сухощавая, но живая старушка... даже не старушка, а лет около пятидесяти женщина, с черными живыми глазами и такой доброй и грациозной улыбкой, что когда и рассердится и засверкает гроза в глазах, так за этой грозой опять видно чистое небо.

Над губами маленькие усики; на левой щеке, ближе к подбородку, родимое пятно с густым кустиком волос. Это придавало лицу ее еще какой-то штрих доброты.

Она стригла седые волосы и ходила дома по двору и по саду с открытой головой, а в праздник и при гостях надевала чепец; но чепец держался чуть-чуть на маковке, не шел ей и как будто готов был каждую минуту слететь с головы. Она и сама, просидев пять минут с гостем, извинится и снимет.

До полудня она ходила в широкой белой блузе, с поясом и большими карманами, а после полудня надевала коричневое, по большим праздникам светлое, точно серебряное, едва гнувшееся и шумящее платье, а на плечи накидывала старинную шаль, которая вынималась и выкладывалась одной только Василисой.

– Дядя Иван Кузьмич с Востока вывез, триста червонных заплатил: теперь этакой ни за какие деньги не отыщешь! – хвасталась она.

На поясе и в карманах висело и лежало множество ключей, так что бабушку, как гремучую змею, можно было слышать издали, когда она идет по двору или по саду.

Кучера при этом звуке быстро прятали трубки за сапоги, потому что она больше всего на свете боялась пожара и куренье табаку относилась – по этой причине – к большим порокам.

Повара и кухарки, тоже заслышав звон ключей, принимались – за нож, за уполовник или за метлу, а Кирюша быстро отскакивал от Матрены к воротам, а Матрена шла уже в хлев, будто через силу тащила корытцо, прежде нежели бабушка появилась.

В доме, заслышав звон ключей возвращавшейся со двора барыни, Машутка проворно сдергивала с себя грязный фартук, утирала чем попало, иногда барским платком, а иногда тряпкой, руки. Поплевав на них, она крепко приглаживала сухие, непокорные косички, потом постилала тончайшую чистую скатерть на круглый стол, и Василиса, молчаливая, серьезная женщина, ровесница барыни, не то что полная, а рыхлая и выцветшая телом женщина, от вечного сиденья в комнате, несла кипящий серебряный кофейный сервиз.

Машутка становилась в угол, подальше, всегда прячась от барыни в тени и стараясь притвориться опрятной. Барыня требовала этого, а Машутке как-то неловко было держать себя в чистоте. Чисто вымытыми руками она не так цепко берет вещь в руки и, того гляди, уронит; самовар или чашки скользят из рук; в чистом платье тоже несвободно ходить.

Когда ей велят причесаться, вымыться и одеться в воскресенье, так она, по словам ее, точно в мешок зашита целый день.

Она, кажется, только тогда и была счастлива, когда вся вымажется, растреплется от натирания полов, мытья окон, посуды, дверей, когда лицо, голова сделаются неузнаваемы, а руки до того выпачканы, что если понадобится почесать нос или бровь, так она прибегает к локтю.

Василиса, напротив, была чопорная, важная, вечно шепчущая и одна во всей дворне только опрятная женщина. Она с ранней юности поступила на службу к барыне в качестве горничной, не расставалась с ней, знает всю ее жизнь и теперь живет у нее как экономка и доверенная женщина.

Они говорили между собой односложными словами. Бабушке почти не нужно было отдавать приказаний Василисе: она сама знала все, что надо делать. А если надобилось что-нибудь экстренное, бабушка не требовала, а как будто советовала сделать то или другое.

Просить бабушка не могла своих подчиненных: это было не в ее феодальной натуре. Человек, лакей, слуга, девка – все это навсегда, несмотря ни на что, оставалось для нее человеком, лакеем, слугой и девкой.

Личным приказом она удостоивала немногих: по домашнему хозяйству Василисе отдавала их, а по деревенскому – приказчику или старосте. Кроме Василисы, никого она не называла полным именем, разве уже встретится такое имя, что его никак не сожмешь и не обрежешь, например, мужики: Ферапонт и Пантелеймон так и назывались Ферапонтом и Пантелеймоном, да старосту звала она Степан Васильев, а прочие все были: Матрешка, Машутка, Егорка и т. д.

Если же кого-нибудь называла по имени и по отчеству, так тот знал, что над ним собралась гроза:

– Поди-ка сюда, Егор Прохорыч, ты куда это вчера пропадал целый день? – или: – Семен Васильич, ты, кажется, вчера изволил трубочку покуривать на сеновале? Смотри у меня!

Она грозила пальцем и иногда ночью вставала посмотреть в окно, не вспыхивает ли огонек в трубке, не ходит ли кто с фонарем по двору или в сарае?

Различия между «людьми» и господами никогда и ничто не могло истребить. Она была в меру строга, в меру снисходительна, человеколюбива, но все в размерах барских понятий. Даже когда являлся у Ирины, Матрены или другой дворовой девки непривилегированный ребенок, она выслушает донесение об этом молча, с видом оскорбленного достоинства; потом велит Василисе дать чего там нужно, с презрением глядя в сторону, и только скажет: «Чтоб я ее не видала, негодяйку!» Матрена и Ирина, оправившись, с месяц прятались от барыни, а потом опять ничего, а ребенок отправлялся «на село».

Заболееет ли кто-нибудь из людей – Татьяна Марковна вставала даже ночью, посылала ему спирту, мази, но отсылала на другой день в больницу, а больше к Меланхолихе, доктора же не звала. Между тем чуть у которой-нибудь внучки язычок зачесется или брюшко немного вспучит, Кирюшка или Влас скакали, болтая локтями и ногами на неоседланной лошади, в город, за доктором.

«Меланхолихой» звали какую-то бабу в городской слободе, которая простыми средствами лечила «людей» и снимала недуги как рукой. Бывало, после ее лечения, иного скорбит на весь век в три погибели, или другой перестанет говорить своим голосом, а только кряхтит потом всю жизнь; кто-нибудь воротится от нее без глаз или без челюсти – а все же боль проходила, и мужик или баба работали опять.

Этого было довольно и больным и лекарке, а помещику и подавно. Так как Меланхолиха практиковала только над крепостными людьми и мещанами, то врачебное управление не обращало на нее внимания.

Кормила Татьяна Марковна людей сытно, плотно, до отвала, щами, кашей, по праздникам пирогами и бараниной; в Рождество жарили гусей и свиней; но нежностей в их столе и платье не допускала, а давала, в виде милости, остатки от своего стола то той, то другой женщине.

Чай и кофе пила, непосредственно после барыни, Василиса, потом горничные и пожилой Яков. Кучерам, дворовым мужикам и старосте в праздники подносили по стакану вина, ради их тяжелой работы.

Когда утром убирали со стола кофе, в комнату вваливалась здоровая баба, с необъятными красными щеками и вечно смеющимся – хоть бей ее – ртом: это нянька внучек, Верочки и Марфеньки. За ней входила лет двенадцати девчонка, ее помощница. Приводили детей завтракать в комнату к бабушке.

– Ну, птички мои, ну что? – говорила бабушка, всегда затрудняясь, которую прежде поцеловать. – Ну что, Верочка? вот умница: причесалась.

– И я, бабенька, и я! – кричала Марфенька.

– Что это у Марфеньки глазки красны? не плакала ли во сне? – заботливо спрашивала она у няни. – Не солнышко ли нажгло? Закрыты ли у тебя занавески? Смотри ведь, ты, разиня! Я уж посмотрю.

Еще в девичьей сидели три-четыре молодые горничные, которые целый день, не разгибаясь, что-нибудь шили или плели кружева, потому что бабушка не могла видеть человека без дела – да в передней празднично сидел, вместе с мальчишкой лет шестнадцати, Егоркой-зубоскалом, задумчивый Яков и еще два-три лакея, на помощь ему, ничего не делавшие и часто менявшиеся.

И сам Яков только служил за столом, лениво обмахивал веткой мух, лениво и задумчиво менял тарелки и не охотник был говорить. Когда и барыня спросит его, так он еле ответит, как будто ему было бог знает как тяжело жить на свете, будто гнет какой-нибудь лежал на душе, хотя ничего этого у него не было. Барыня назначила его дворецким за то только, что он смирен, пьет умеренно, то есть мертвецки не напивается, и не курит; притом он усерден к церкви.

VIII

Райский застал бабушку за детским завтраком. Бабушка так и всплеснула руками, так и прыгнула; чуть не попадали тарелки со стола.

– Проказник ты, Борюшка! и не написал, нагрянул: ведь ты перепугал меня, как вошел.

Она взяла его за голову, поглядела с минуту ему в лицо, хотела будто заплакать, но только жала голову, видно, раздумала, быстро взглянула на портрет матери Райского и подавила вздох.

– Ну, ну, ну... – хотела она сказать, спросить и ничего не сказала, не спросила, а только засмеялась и проворно отерла глаза платком. – Маменькин сынок: весь, весь в нее! Посмотри, какая она красавица была. Посмотри, Василиса... Помнишь? Ведь похож!

Кофей, чай, булки, завтрак, обед – все это опрокинулось на студента, еще стыдливого, робкого, нежного юношу, с аппетитом ранней молодости; и всему он сделал честь. А бабушка почти не сводила глаз с него.

– Позови людей, старосте скажи, всем, всем: хозяин, мол, приехал, настоящий хозяин, барин! Милости просим, батюшка! милости просим в родовое гнездо! – с шутливо-ироническим смирением говорила она, подделываясь под мужицкий лад. – Не оставьте нас своей милостью: Татьяна Марковна нас обижает, разоряет, заступитесь!.. Ха-ха-ха. На тебе ключи, на вот счеты, изволь командовать, требуй отчета от старухи: куда все растранижила, отчего избы развалились!.. Поди-ка, в городе всё малиновские мужики под окошками побираются... Ха-ха-ха! А у дядюшки-опекуна там, в новом имении, я чаю, мужики в смазных сапогах ходят да в красных рубашках; избы в два этажа... Да что ж ты, хозяин, молчишь? Что не спрашиваешь отчета? Позавтракай, а потом я тебе все покажу.

После завтрака бабушка взяла большой зонтик, надела ботинки с толстой подошвой, голову прикрыла полотняным капором и пошла показывать Борису хозяйство.

– Ну, хозяин, смотри же, замечай и, чуть что неисправно, не давай потачки бабушке. Вот садик-то, что у окошек, я, видишь, недавно разбила, – говорила она, проходя чрез цветник и направляясь к двору. – Верочка с Марфенькой тут у меня всё на глазах играют, роются в песке. На няньку надеяться нельзя: я и вижу из окошка, что они делают. Вот подрастут, цветов не надо покупать: свои есть.

Они вошли на двор.

– Кирюшка, Еремка, Матрешка! Куда это все спрятались? – взывала бабушка, стоя посреди двора. – Жарко, что ли? Выдьте сюда кто-нибудь!

Вышла Матрешка и доложила, что Кирюшка и Еремка посланы в село за мужиками.

– Вот Матрешка: помнишь ли ты ее? – говорила бабушка. – А ты подойди, дура, что стоишь? Поцелуй ручку у барина: ведь это внучек.

– Оробела, барыня, не смею! – сказала Матрена, подходя к барину.

Он стыдливо обнял ее.

– Это новый флигель, бабушка: его не было, – сказал Борис.

– Заметил! Да, да, помнишь старый? Весь сгнил, щели в полу в ладонь, чернота, копоть, а теперь вот посмотри!

Они вошли в новый флигель. Бабушка показала ему переделки в конюшнях, показала и лошадей, и особое отделение для птиц, и прачешную, даже хлевы.

– Старой кухни тоже нет; вот новая, нарочно выстроила отдельно, чтоб в доме огня не разводиться и чтоб людям не тесно было. Теперь у всякого и у всякой свой угол есть, хоть маленький, да особый. Вот здесь хлеб, провизия; вот тут погреб новый, подвалы тоже заново переделаны.

– Ты что тут стоишь? – оборотилась она к Матрене, – поди скажи Егорке, чтоб он бежал в село и сказал старосте, что мы сами идем туда.

В саду Татьяна Марковна отрекомендовала ему каждое дерево и куст, провела по аллеям, заглянула с ним в рощу с горы, и наконец они вышли в село. Было тепло, и озимая рожь плавно волновалась от тихого полуденного ветерка.

– Вот внук мой, Борис Павлыч! – сказала она старосте. – Что, убирают ли сено, пока горячо на дворе? Пожалуй, дожди после жары пойдут. Вот барин, настоящий барин приехал, внук мой! – говорила она мужикам. – Ты видал ли его, Гараська? Смотри же, какой он! А это твой, что ли, теленок во ржи, Илюшка? – спрашивала при этом, потом мимоходом заглянула на пруд.

– Опять на деревья белье вешают! – гневно заметила она, обратясь к старосте. – Я велела веревку протянуть. Скажи слепой Агашке: это она все любит на иву рубашки вешать! сокровище! Обломает ветки!..

– Вережки такой длинной нет, – сонно отозвался староста, – уж надо в городе купить...

– Что ж не скажешь Василисе: она доложила бы мне. Я всякую неделю езжу: давно бы купила.

– Я сказывал; да забывает – или говорит, не стоит барыню тревожить.

Бабушка завязала на платке узелок. Она любила говорить, что без нее ничего не делается, хотя, например, веревку мог купить всякий. Но Боже сохрани, чтоб она поверила кому-нибудь деньги.

Хотя она была не скупа, но обращалась с деньгами с бережливостью; перед издержкой задумывалась, была беспокойна, даже сердита немного; но, выдав раз деньги, тотчас же забывала о них, и даже не любила записывать; а если записывала, так только для того, по ее словам, чтоб потом не забыть, куда деньги дела, и не испугаться. Пуще всего она не любила платить вдруг много, большие куши.

Кроме крупных распоряжений, у ней жизнь кишела маленькими заботами и делами. То она заставит девок кроить, шить, то чинить что-нибудь, то варить, чистить. «Делать все самой» она называла смотреть, чтоб все при ней делали.

Она собственно не дотронется ни до чего, а старчески грациозно подопрет одной рукой бок, а пальцем другой повелительно указывает, что как сделать, куда поставить, убрать.

Звеневшие ключи были от домашних шкафов, сундуков, ларцов и шкатулок, где хранились старинное богатое белье, полотна, пожелтевшие драгоценные кружева, брильянты, назначавшиеся внукам в приданое, а главное – деньги. От чая, сахара, кофе и прочей провизии ключи были у Василисы.

Распорядившись утром по хозяйству, бабушка, после кофе, стоя сводила у бюро счета, потом садилась у окон и глядела в поле, следила за работами, смотрела, что делалось на дворе, и посылала Якова или Василису, если на дворе делалось что-нибудь не так, как ей хотелось.

Потом, если нужно, ехала в ряды и заезжала с визитом в город, но никогда не засиживалась, а только заглянет минут на пять и сейчас к другому, к третьему, и к обеду домой.

Не то так принимала сама визиты, любила пуще всего угощать завтраками и обедами гостей. Еще ни одного человека не выпустила от себя, сколько ни живет бабушка, не напичкав его чем-нибудь во всякую пору, утром и вечером.

После обеда бабушка, зимой, сидя у камина, часто задумчиво молчала, когда была одна. Она сидела беспечной барыней, в красивой позе, с сосредоточенной будто бы мыслью или каким-то глубоким воспоминанием и – любила тогда около себя тишину, оставаясь долго в сумерках одна. Лето проводила в огороде и саду: здесь она позволяла себе, надев замшевые перчатки, брать лопатку, или грабельки, или лейку в руки и, для здоровья, вскопает грядку, польет цветы, обчистит какой-нибудь куст от гусеницы, снимет паутину с смородины и, уста-

лая, кончит вечер за чаем, в обществе Тита Никонича Ватутина, ее старинного и лучшего друга, собеседника и советника.

IX

Тит Никонич был джентльмен по своей природе. У него было тут же, в губернии, душ двести пятьдесят или триста – он хорошенько не знал, никогда в имение не заглядывал и предоставлял крестьянам делать, что хотят, и платить ему оброку, сколько им заблагорассудится. Никогда он их не поверял. Возьмет стыдливо привезенные деньги, не считая, положит в бюро, а мужикам махнет рукой, чтоб ехали, куда хотят.

Служил он прежде в военной службе. Старики помнят его очень красивым, молодым офицером, скромным, благовоспитанным человеком, но с смелым открытым характером.

В юности он приезжал не раз к матери, в свое имение, проводил время отпуска и уезжал опять, и наконец вышел в отставку, потом приехал в город, купил маленький серенький домик, с тремя окнами на улицу, и свил себе тут вечное гнездо.

Хотя он получил довольно слабое образование в каком-то корпусе, но любил читать, а особенно по части политики и естественных наук. Слова его, манеры, поступь были проникнуты какою-то мягкою стыдливостью, и вместе с тем под этой мягкостью скрывалась уверенность в своем достоинстве и никогда не высказывалась, а как-то видимо присутствовала в нем, как будто готовая обнаружиться, когда дойдет до этого необходимость.

Он сохранял всегда учтивость и сдержанность в словах и жестах, как бы с кем близок ни был. И губернатору, и приятелю, и новому лицу он всегда одинаково поклонится, шаркнет ногой и приподнимет ее немного назад, соблюдая старинные фасы вежливости. Перед дамой никогда не сядет, и даже на улице говорит без шапки, прежде всех поднимет платок и подвинет скамеечку. Если в доме есть девицы, то принесет фунт конфет, букет цветов и старается подладить тон разговора под их лета, занятия, склонности, сохраняя утонченнейшую учтивость, смешанную с неизменною почтительностью рыцарей старого времени, не позволяя себе нескромной мысли, не только намека в речи, не являясь перед ними иначе, как во фраке.

Он не курил табаку, но не душился, не молодился, а был как-то опрятен, изящно чист и благороден видом, манерами, обхождением. Одевался всегда чисто, особенно любил белье и блистал не вышивками какими-нибудь, не фасонами, а белизною.

Все просто на нем, но все как будто сияет. Нанковые панталоны выглажены, чисты; синий фрак как с иголочки. Ему было лет пятьдесят, а он имел вид сорокалетнего свежего, румяного человека благодаря парик и всегда гладко обриту подбородку.

Взгляд и улыбка у него были так приветливы, что сразу располагали в его пользу. Несмотря на свои ограниченные средства, он имел вид щедрого барина: так легко и радушно бросал он сто рублей, как будто бросал тысячи.

К бабушке он питал какую-то почтительную, почти благоговейную дружбу, но пропитанную такой теплотой, что по тому только, как он входил к ней, садился, смотрел на нее, можно было заключить, что он любил ее без памяти. Никогда, ни в отношении к ней, ни при ней, он не обнаружил, по своему обыкновению, признака короткости, хотя был ежедневным ее гостем.

Она платила ему такой же дружбой, но в тоне ее было больше живости и короткости. Она даже брала над ним верх, чем, конечно, была обязана бойкому своему нраву.

Помнившие ее молодою говорят, что она была живая, очень красивая, стройная, немного чопорная девушка и что возня с хозяйством обратила ее в вечно движущуюся и бойкую на слова женщину. Но следы молодости и иных манер остались в ней.

Накинув шаль и задумавшись, она походила на один старый женский портрет, бывший в старом доме, в галерее предков.

Иногда вдруг появлялось в ней что-то сильное, властное, гордое: она выпрямлялась, лицо озарялось какою-то внезапною строгою или важною мыслию, как будто уносившею ее далеко от этой мелкой жизни в какую-то другую жизнь.

Сидя одна, она иногда улыбалась так грациозно и мечтательно, что походила на беззаботную, богатую, избалованную барыню. Или когда, подперев бок рукою или сложив руки крестом на груди, смотрит на Волгу и забудет о хозяйстве, то в лице носится что-то грустное.

Не проходило почти дня, чтоб Тит Никоныч не принес какого-нибудь подарка бабушке или внучкам. В марте, когда еще о зелени не слыхать нигде, он принесет свежий огурец или корзиночку земляники, в апреле горсточку свежих грибов – «первую новинку». Привезут в город апельсины, появятся персики – они первые подаются у Татьяны Марковны.

В городе прежде был, а потом замолк, за давностию, слух о том, как Тит Никоныч, в молодости, приехал в город, влюбился в Татьяну Марковну, и Татьяна Марковна в него. Но родители не согласились на брак, а назначили ей в женихи кого-то другого.

Она, в свою очередь, не согласилась и осталась девушкой.

Правда ли это, нет ли – знали только они сами. Но правда то, что он ежедневно являлся к ней, или к обеду, или вечером, и там кончал свой день. К этому все привыкли и дальнейших догадок на этот счет никаких не делали.

Тит Никоныч любил беседовать с нею о том, что делается в свете, кто с кем воюет, за что; знал, отчего у нас хлеб дешевле и что бы было, если б его можно было возить отсюда за границу. Знал он еще наизусть все старинные дворянские дома, всех полководцев, министров, их биографии; рассказывал, как одно море лежит выше другого; первый уведомит, что выдумали англичане или французы, и решит, полезно ли это или нет.

Он же сообщал Татьяне Марковне, что сахар подешевел в Нижнем, чтобы не обманули купцы, или что чай скоро вздорожает, чтоб она заблаговременно запаслась.

В присутственном месте понадобится что-нибудь – Тит Никоныч все сделает, исправит, иногда даже утаит лишнюю издержку, разве нечаянно откроется, через других, и она пожурит его, а он сконфузится, попросит прощения, расшаркается и поцелует у нее ручку.

Она была всегда в оппозиции с местными властями: постой ли к ней назначат или велят дороги чинить, взыскивают ли подати: она считала всякое подобное распоряжение начальства насилием, бранилась, ссорилась, отказывалась платить и об общем благе слышать не хотела. «Знай всякий себя», – говорила она и не любила полиции, особенно одного полицмейстера, видя в нем почти разбойника. Тит Никоныч, попытавшись несколько раз, но тщетно, примирить ее с идеей об общем благе, ограничился тем, что мирил ее с местными властями и полицией.

Вот в какое лоно патриархальной тишины попал юноша Райский. У сироты вдруг как будто явилось семейство, мать и сестры, в Тите Никоныче – идеал доброго дяди.

Х

Бабушка только было расположилась объяснять ему, чем засеваается у ней земля и что выгоднее всего возделывать по нынешнему времени, как внучек стал зевать.

— А ты послушай: ведь это все твое; я твой староста... — говорила она. Но он зевал, смотрел, какие это птицы прячутся в рожь, как летают стрекозы, срывал васильки и пристально разглядывал мужиков, еще пристальнее слушал деревенскую тишину, смотрел на синее небо, каким оно далеким кажется здесь.

Бабушка что-то затолковалась с мужиками, а он прибежал в сад, сбежал с обрыва вниз, продрался сквозь чащу на берег, к самой Волге, и онемел перед лежавшим пейзажем.

«Нет, молод, еще дитя: не понимает дела, — думала бабушка, провожая его глазами. — Вон как подрал! что-то выйдет из него?»

Волга задумчиво текла в берегах, заросшая островами, кустами, покрытая мелями. Вдали желтели песчаные бока гор, а на них синел лес; кое-где белел парус, да чайки, плавно махая крыльями, опускаясь на воду, едва касались ее и кругами поднимались опять вверх, а над садами высоко и медленно плавал коршун.

Борис уже не смотрел перед собой, а чутко замечал, как картина эта повторяется у него в голове; как там расположились горы, попала ли туда вон избушка, из которой валил дым; поверял и видел, что и мели там, и паруса белеют.

Он долго стоял и, закрыв глаза, переносился в детство, помнил, что подле него сидела мать, вспоминал ее лицо и задумчивое сияние глаз, когда она глядела на картину...

Он пошел тихонько домой, стал карабкаться на обрыв, и картина как будто зашла вперед его и легла перед глазами.

Об этом обрыве осталось печальное предание в Малиновке и во всем околотке. Там, на дне его, среди кустов, еще при жизни отца и матери Райского, убил за неверность жену и соперника, и тут же сам зарезался, один ревнивый муж, портной из города. Самоубийцу тут и зарыли, на месте преступления.

Вся Малиновка, слобода и дом Райских, и город были поражены ужасом. В народе, как всегда в таких случаях, возникли слухи, что самоубийца, весь в белом, блуждает по лесу, взбирается иногда на обрыв, смотрит на жилые места и исчезает. От суеверного страха ту часть сада, которая шла с обрыва по горе и отделялась плетнем от ельника и кустов шиповника, забросили.

Никто из двора уже не сходил в этот обрыв, мужики из слободы и Малиновки обходили его, предпочитая спускаться с горы к Волге по другим скатам и обрывам или по проезжей, хотя и крутой дороге, между двух плетней.

Плетень, отделявший сад Райских от леса, давно упал и исчез. Деревья из сада смешались с ельником и кустами шиповника и жимолости, переплелись между собою и образовали глухое, дикое место, в котором пряталась заброшенная, полуразвалившаяся беседка.

Отец Райского велел даже в верхнем саду выкопать ров, который и составлял границу сада, недалеко от того места, где начинался обрыв.

Райский вспомнил это печальное предание, и у него плечи немного холодели от дрожи, когда он спускался с обрыва, в чащу кустов.

Ему живо представлялась картина, как ревнивый муж, трясясь от волнения, пробирався между кустов, как бросился к своему сопернику, ударил его ножом; как, может быть, жена билась у ног его, умоляя о прощении. Но он, с пеной у рта, наносил ей рану за раной и потом, над обоими трупами, перерезал горло и себе.

Райский вздрогнул и, взволнованный, грустный, воротился домой от проклятого места. А между тем эта дичь леса манила его к себе, в таинственную темноту, к обрыву, с которого вид был хорош на Волгу и оба ее берега.

Борис был весь в картине; задумчивость лежала на лице, ему было так хорошо – век бы тут стоять.

Он закроет глаза и хочет поймать, о чем он думает, но не поймает; мысли являются и утекают, как волжские струи: только в нем точно поет ему какой-то голос, и в голове, как в каком-то зеркале, стоит та же картина, что перед глазами.

Верочка и Марфенька развлекли его. Они не отставали от него, заставляли рисовать кур, лошадей, домы, бабушку и себя и не отпускали его ни на шаг.

Верочка была с черными, острыми глазами, смугленькая девочка, и уж начинала немного важничать, стыдиться шалостей: она скакнет два-три шага по-детски и вдруг остановится и стыдливо поглядит вокруг себя, и пойдет плавно, потом побежит, и тайком, быстро, как птичка клюнет, сорвет ветку смородины, проворно спрячет в рот и сделает губы смиренно.

Если Борис тронет ее за голову, она сейчас поправит волосы, если поцелует, она тихонько оботрется. Схватит мячик, бросит его раза два, а если он укатится, она не пойдет поднять его, а прыгнет, сорвет листок и старается щелкнуть.

Она упряма: если скажут, пойдем туда, она не пойдет, или пойдет не сразу, а прежде покачает отрицательно головой, потом не пойдет, а побежит, и все вприпрыжку.

Она не просит рисовать; а если Марфенька попросит, она пристальнее Марфеньки смотрит, как рисуют, и ничего не скажет. Рисунков и карандашей, как Марфенька, тоже не просит. Ей было лет шесть с небольшим.

Марфенька, напротив, беленькая, красненькая и пухленькая девочка по пятому году. Она часто капризничает и плачет, но не долго: сейчас же, с невысохшими глазами, уже визжит и смеется.

Верочка плачет редко и потихоньку, и если огорчат ее чем-нибудь, она делается молчалива и не скоро приходит в себя, не любит, чтоб ее заставляли просить прощенья.

Она молчит, молчит, потом вдруг неожиданно придет в себя и станет опять бегать вприпрыжку и тихонько срывать смородину, а еще чаще вороняшки, черную, приторно-сладкую ягоду, растущую в канавах и строго запрещенную бабушкой, потому что от нее будто бы тошнит.

«О чем это он все думает? – пыталась отгадать бабушка, глядя на внука, как он внезапно задумывался после веселости, часто также внезапно, – и что это он все там у себя делает?»

Но Борис не заставил ждать долго ответа: он показал бабушке свой портфель с рисунками, потом переиграл ей все кадрили, мазурки и мотивы из опер, наконец свои фантазии.

Бабушка так и ахнула.

– Весь, весь в мать! – говорила она. – Та тоже все, бывало, тоскует, ничего не надо, все о чем-то вздыхает, как будто ждет чего-нибудь, да вдруг заиграет и развеселится, или от книжки не оттащишь. Смотри, Василиса: и тебя, и меня сделал, да ведь как вылитые! Вот постой, Тит Никоныч придет, а ты притаись, да и срисуй его, а завтра тихонько пошлем к нему в кабинет на стену приклеить! Каков внучек? Как играет! не хуже француза-эмигранта, что у тетки жил... И молчит, не скажет! Завтра же в город повезу, к княгине, к предводителю! Вот только никак не заставишь его о хозяйстве слушать: молод!

Борис успел пересказать бабушке и «Освобожденный Иерусалим», и Оссиана, и даже из Гомера, и из лекций кое-что, рисовал портреты с нее, с детей, с Василисы; опять играл на фортепиано.

Потом бежал на Волгу, садился на обрыв или сбегал к реке, ложился на песок, смотрел за каждой птичкой, за ящерицей, за букашкой в кустах, и глядел в себя, наблюдая, отражается

ли в нем картина, все ли в ней так же верно и ярко, и через неделю стал замечать, что картина пропадает, бледнеет и что ему как будто уже... скучно.

А бабушка все хотела показывать ему счета, объясняла, сколько она откладывает в приказ, сколько идет на ремонт хозяйства, чего стоили переделки.

– Верочкины и Марфенькины счета особо: вот смотри, – говорила она, – не думай, что на них хоть копейка твоя пошла. Ты послушай...

Но он не слушал, а смотрел, как писала бабушка счета, как она глядит на него через очки, какие у нее морщины, родимое пятнышко, и лишь доходил до глаз и до улыбки, вдруг засмеется и бросится целовать ее.

– Ты ему о деле, а он шалит: пустота какая – мальчик! – говорила однажды бабушка. – Прыгай да рисуй, а уж спасибо скажешь, как под старость будет уголок. Еще то имение-то, бог знает что будет, как опекун управится с ним! а это уж старое, прижилось в нем...

Он стал проситься посмотреть старый дом.

Неохотно дала ему ключи от него бабушка, но отказать не могла, и он отправился смотреть комнаты, в которых родился, жил и о которых осталось у него смутное воспоминание.

– Василиса, ты бы пошла за ним, – сказала бабушка.

Василиса тронулась было с места.

– Не надо, не надо, я один, – упрямо сказал Борис и отправился, разглядывая тяжелый ключ, в котором пустые места между зубцами заросли ржавчиной.

Егорка, прозванный зубоскалом, – потому что сидел все в девичьей и немилосердно издевался над горничными, – отпер ему двери.

– И я, и я пойду с дядей, – попросилась было Марфенька.

– Куда ты, милая? там страшно – у! – сказала бабушка.

Марфенька испугалась. Верочка ничего не сказала; но когда Борис пришел к двери дома, она уже стояла, крепко прижавшись к ней, боясь, чтоб ее не оттащили прочь, и ухватясь за ручку замка.

Со страхом и замиранием в груди вошел Райский в прихожую и боязливо заглянул в следующую комнату: это была зала с колоннами, в два света, но до того с затянутыми пылью и плесенью окнами, что в ней было, вместо двух светов, двое сумерек.

Верочка только что ворвалась в переднюю, как бросилась вприпрыжку вперед и исчезла из глаз, вскидывая далеко пятки и едва глядя по сторонам, на портреты.

– Куда ты, Вера, Вера? – кричал он.

Она остановилась и глядела на него молча, положив руку на замок следующей двери. Он не успел дойти до нее, а она уже скрылась за дверью.

За залой шли мрачные, закоптевшие гостиные; в одной были закутанные в чехлы две статуи, как два привидения, и старые, тоже закрытые, люстры.

Везде почерневшие, массивные, дубовые и из черного дерева кресла, столы, с бронзовой отделкой и деревянной мозаикой; большие китайские вазы; часы – Вакх, едущий на бочке; большие овальные, в золоченых, в виде веток, рамах, зеркала; громадная кровать в спальне стояла, как пышный гроб, покрытый глазетом.

Райский с трудом представлял себе, как спали на этих катафалках: казалось ему, не уснуть живому человеку тут. Под балдахином вызолоченный висящий купидон, весь в пятнах, полинявший, натягивал стрелу в постель; по углам резные шкафы, с насечкой из кости и перламутра.

Верочка отворила один шкаф и сунула туда личико, потом отворила, один за другим, ящики и также сунула личико: из шкафов понесло сыростью и пылью от старинных кафтанов и шитых мундиров с большими пуговицами.

По стенам портреты: от них не уйдешь никуда – они провожают всюду глазами.

Весь дом пропитан пылью и пустотой. По углам как будто раздается шорох. Райский ступил шаг, и в углу как будто кто-то ступил.

От сотрясения пола под шагами с колонн и потолков тихо сыпалась давнишняя пыль; кое-где на полу валялись куски и крошки отвалившейся штукатурки; в окне жалобно жужжит и просится в запыленное стекло наружу муха.

– Да, бабушка правду говорит: здесь страшно! – говорил, вздрагивая, Райский.

Но Верочка обегала все углы и уже возвращалась сверху, из внутренних комнат, которые, в противоположность большим нижним залам и гостиным, походили на кельи, отличались сжатостью, уютностью и смотрели окнами на все стороны.

В комнате сумрачно, мертво, все – подобие смерти, а взглянешь в окно – и отдохнешь: там кайма синего неба, зелень мелькает, люди шевелятся.

Верочка походила на молодую птичку среди этой ветоши и не смущалась ни преследующими взглядами портретов, ни сыростью, ни пылью, всем этим печальным запустением.

– Здесь хорошо, места много! – сказала она, оглядываясь. – Как там хорошо вверху! Какие большие картины, книги!

– Картины, книги: где? Как это я не вспомнил о них! Ай да Верочка!

Он поймал и поцеловал ее. Она отерла губы и побежала показывать книги.

Райский нашел тысячи две томов и углубился в чтение заглавий. Тут были все энциклопедисты и Расин с Корнелем, Монтескье, Макиавелли, Вольтер, древние классики во французском переводе и «Неистовый Орланд», и Сумароков с Державиным, и Вальтер Скотт, и знакомый «Освобожденный Иерусалим», и «Илиада» по-французски, и Оссиан в переводе Карамзина, Мармонтель и Шатобриан, и бесчисленные мемуары. Многие еще не разрезаны: как видно, владельцы, то есть отец и дед Бориса, не успели прочесть их.

С тех пор не стало слышно Райского в доме; он даже не ходил на Волгу, пожирая жадно волюмы за волюмами.

Он читал, рисовал, играл на фортепиано, и бабушка заслушивалась; Верочка, не сморгнув, глядела на него во все глаза, положив подбородок на фортепиано.

То писал он стихи и читал громко, упиваясь музыкой их, то рисовал опять берег и плавал в трепете, в неге: чего-то ждал впереди – не знал чего, но вздрагивал страстно, как будто предчувствуя какие-то исполинские, роскошные наслаждения, видя тот мир, где все слышатся звуки, где все носятся картины, где плещет, играет, бьется другая, заманчивая жизнь, как в тех книгах, а не та, которая окружает его...

– Послушай, что я хотела тебя спросить, – сказала однажды бабушка, – зачем ты опять в школу поступил?

– В университет, бабушка, а не в школу.

– Все равно: ведь ты учишься там. Чему? У опекуна учился, в гимназии учился: рисуешь, играешь на клавикордах – что еще? А студенты выучат тебя только трубку курить, да, пожалуй, – Боже сохрани – вино пить. Ты бы в военную службу поступил, в гвардию.

– Дядя говорит, что средств нет...

– Как нет: а это что?

Она указала на поля и деревушку.

– Да что ж это!.. Чем тут!..

– Как чем! – И начала высчитывать сотни и тысячи...

Она не жила в столице, никогда не служила в военной службе и потому не знала, чего и сколько нужно для этого.

– Средств нет! Да я тебе одной провизии на весь полк пришлю!.. Что ты... средств нет! А дядюшка куда доходы деваает?

– Я, бабушка, хочу быть артистом.

– Как артистом?

– Художником... После университета в академию пойду...

– Что ты, Борюшка, перекрестись! – сказала бабушка, едва поняв, что он хочет сказать. – Это ты хочешь учителем быть?

– Нет, бабушка, не все артисты – учителя, есть знаменитые таланты: они в большой славе и деньги большие получают за картины или за музыку...

– Так ты за свои картины будешь деньги получать или играть по вечерам за деньги!.. Какой срам!

– Нет, бабушка, артист...

– Нет, Борюшка, ты не огорчай бабушку: дай дожить ей до такой радости, чтоб увидеть тебя в гвардейском мундире: молодцом приезжай сюда...

– А дядюшка говорит, чтоб я шел в статскую...

– В приказные! Писать, согнувшись, купаться в чернилах, бегать в палату: кто потом за тебя пойдет? Нет, нет, приезжай офицером да женись на богатой!

Хотя Райский не разделял мнения ни дяди, ни бабушки, но в перспективе у него мелькала собственная его фигура, то в гусарском, то в камер-юнкерском мундире. Он смотрел, хорошо ли он сидит на лошади, ловко ли танцует. В тот день он нарисовал себя небрежно опершегося на седло, с буркой на плечах.

XI

Однажды бабушка велела заложить свою старую, высокую карету, надела чепчик, серебристое платье, турецкую шаль, лакею велела надеть ливрею и поехала в город с визитами, показывать внучка, и в лавки, делать закупки.

Их везла пара сытых лошадей, ехавших медленной рысью; в груди у них что-то отдавалось, точно икота. Кучер держал кнут в кулаке, вожжи лежали у него на коленях, и он изредка подергивал ими, с ленивым любопытством и зевотой поглядывая на знакомые предметы по сторонам.

Это было более торжественное шествие бабушки по городу. Не было человека, который бы не поклонился ей. С иными она останавливалась поговорить. Она называла внуку всякого встречного, объясняла, проезжая мимо домов, кто живет и как, – все это бегло, на ходу.

Доехали они до деревянных рядов. Купец встретил ее с поклонами и с улыбкой, держа шляпу на отлете и голову наклонив немного в сторону.

– Татьяне Марковне!.. – говорил он с улыбкой, показывая ряд блестящих белых зубов.

– Здравствуйте. Вот вам внука привезла, настоящего хозяина имения. Его капитал мотаю я у вас в лавке. Как рисует, играет на фортепиано!..

Райский дернул бабушку за рукав.

Кузьма Федотыч отвесил и Райскому такой же поклон.

– Хорошо ли торгуете? – спросила бабушка.

– Грех пожаловаться, сударыня. Только вы редко стали жаловать, – отвечал он, смахивая пыль с кресла и почтительно подвигая ей, а Райскому поставил стул.

В лавке были сукна и материи, в другой комнате – сыр и леденцы, и пряности, и даже бронза.

Бабушка пересмотрела все материи, приценилась и к сыру, и к карандашам, поговорила о цене на хлеб и перешла в другую, потом в третью лавку, наконец, проехала через базар и купила только веревку, чтоб не вешали бабы белье на дерево, и отдала Прохору.

Он долго ее рассматривал, все потягивая в руках каждый вершок, потом осмотрел оба конца и спрятал в шапку.

– Ну, теперь пора с визитами, – сказала она. – Поедем к Нилу Андреевичу.

– Кто это Нил Андреевич? – спросил Борис.

– Разве я тебе не говорила? Это председатель палаты, важный человек: солидный, умный, молчит все; а если скажет, даром слов не тратит. Его все боятся в городе: что он сказал, то и свято. Ты приласкайся к нему: он любит пожурить!..

– Что ж, бабушка, толку, что журит? Я не хочу!..

– Молод, молод ты; после сам спасибо скажешь. Слава Богу, что не вывелись такие люди, что уму-разуму учат! Зато как лестно, когда кого похвалит! Набожный такой! Одного франта так отделал, узнав, что он в Троицу не был в церкви, что тот и язык прикусил. «Я, говорит, донесу на вас: это вольнодумство!» И ведь донесет, с ним шутить нельзя. Двух помещиков под опеку подвел. Его боятся как огня. А так – он добрый: ребенка встретит – по голове погладит, букашку на дороге никогда не раздавит, а отодвинет тростью в сторону: «Когда не можешь, говорит, дать жизни, и не лишай». И с вида важный; лоб как у твоего дедушки, лицо строгое, брови срослись. Как хорошо говорит – заслушаешься! Ты приласкайся к нему. И богат. Говорят, что в кармане у себя он тоже казенную палату завел, да будто родную племянницу обобрал и в сумасшедший дом запер. Есть грех, есть грех!..

Но Нила Андреевича они не застали дома: он был в палате.

Проезжая мимо дома губернатора, бабушка горделиво отвернулась.

– Тут живет губернатор Васильев... или Попов какой-то. (Бабушка очень хорошо знала, что он Попов, а не Васильев.) Он воображает, что я явлюсь к нему первая с визитом, и не заглянул ко мне: Татьяна Марковна Бережкова поедет к какому-то Попову или Васильеву!

Губернатор ничего «не воображал», но Бережковой было досадно, что он не оказал ей внимания.

– Нил Андреич поважнее, постарше и посолиднее его, а в Новый год и на Пасху всегда заедет с визитом, и кушать иногда жалует!

Заехали потом к старой княгине, жившей в большом темном доме.

Там жилым пахло только в одном уголке, где она гнездилась, а другие двадцать комнат походили на покои в старом бабушкином доме.

Княгиня была востроносая, худенькая старушка, в темном платье, в кружевах, в большом чепце, с сухими, костлявыми, маленькими руками, переплетенными синими жилами, и со множеством старинных перстней на пальцах.

– Княгиня матушка!..

– Татьяна Марковна!.. – воскликнули старушки.

Болонка яростно лаяла из-под канапе.

– Вот внука привезла показать – настоящего хозяина: как играет, рисует!

Он должен был поиграть на фортепиано. Потом ему принесли тарелку земляники. Бабушка с княгиней пила кофе, Райский смотрел на комнаты, на портреты, на мебель и на весело глядевшую в комнаты из сада зелень; видел расчищенную дорожку, везде чистоту, чопорность, порядок: слушал, как во всех комнатах попеременно пробили с полдюжины столовых, стенных, бронзовых и малахитовых часов; рассматривал портрет косого князя, в красной ленте, самой княгини, с белой розой в волосах, с румянцем, живыми глазами, и сравнивал с оригиналом. И все это точно складывал в голову, следил, как там, где-то, отражался дом, княгиня, болонка, пожилой слуга с проседью, в ливрейном фраке, слышался бой часов...

Заехали они еще к одной молодой барыне, местной львице, Полине Карповне Крицкой, которая смотрела на жизнь, как на ряд побед, считая потерянным день, когда на нее никто не взглянет нежно или не шепнет ей хоть намек на нежность.

Нравственные женщины, строгие судьи, и между прочим Нил Андреевич, вслух порицали ее, Татьяна Марковна просто не любила, считала пустой вертушкой, но принимала как всех, дурных и хороших. Зато молодежь гонялась за Крицкой.

У Полины Карповны Крицкой бабушка пробыла всего минут десять, но хозяйка успела надеть блузу с кружевами, плохо сходящуюся спереди.

Она обливала взглядом Райского; нужды ей нет, что он был ранний юноша, успела ему сказать, что у него глаза и рот обворожительны и что он много побед сделает, начиная с нее...

– Что вы это ему говорите: он еще дитя! – полугневно заметила бабушка и стала прощаться. Полина Карповна извинялась, что муж в палате, обещала приехать сама, а в заключение взяла руками Райского за обе щеки и поцеловала в лоб.

– Бесстыдница, беспутная! и ребенка не пропустила! – ворчала бабушка дорогой.

А Райский был смущен. Молодая женщина, белая шея, свобода в речах и обдавание смелыми взглядами вскипятили воображение мальчика. Она ему казалась какой-то светлой богиней, королевой...

– Армида! – вслух, забывшись, сказал он, внезапно вспомнив об «Освобожденном Иерусалиме».

– Бесстыжая! – ворчала бабушка, подъезжая к крыльцу предводителя. – Узнает Нил Андреич, что он скажет? Будет тебе, вертушка!

Какой обширный дом, какой вид у предводителя из дома! Впрочем, в провинции из редкого дома нет прекрасного вида: пейзажи, вода и чистый воздух – там дешевые и всем дающиеся блага. Обширный двор, обширные сады, господские службы, конюшни.

Дом вытянулся в длину, в один этаж, с мезонином. Во всем благословенное обилие: гость приедет, как Одиссей в гости к царю.

Многочисленное семейство то и дело сидит за столом, а в семействе человек восемнадцать: то чай кушают, то кофе кушают в беседке, кушают на лужку, кушают на балконе.

Экономка весь день гремит ключами; буфет не затворяется. По двору поминутно носят полные блюда из кухни в дом, а обратно человек тихим шагом несет пустое блюдо, пальцем или языком очищая остатки. То барыне бульон, то тетеньке постное, то барчонку каши, барину чего-нибудь посолиднее.

Гостей вечный рой, слуг человек сорок, из которых иные, пообедав прежде господ, лениво отмахивают мух ветвями, а другой, задремав, покроет ветвью лысую голову барина или величавый чепец барыни.

За обедом подают по два супа, по два холодных блюда, по четыре соуса и по пяти пирожных. Вина – одно кислее другого – всё как следует в открытом доме в провинции.

На конюшне двадцать лошадей: одни в карету барыни, другие в коляску барину; то для парных дрожек, то в одиночку, то для большой коляски – детей катать, то воду возить; верховые для старшего сына, клеппер для младших и, наконец, лошачок для четырехлетнего.

Комнат в доме сколько! учителей, мамзелей, гувернанток, приживалок, горничных... и долгов на доме сколько!

Татьяну Марковну и Райского все встретили шумно, громко, человеческими голосами, собачьим лаем, поцелуями, двиганьем стульев и сейчас начали кормить завтраком, поить кофе, потчевать ягодами.

Побежали в кухню и из кухни лакеи, девки, – как бабушка ни отбивалась от угощенья.

Райского окружили сверстники, заставили его играть, играли сами, заставили рисовать, рисовали сами, привели француза-учителя.

– Vous avez du talent, monsieur, vraiment!³⁵ – сказал тот, посмотрев его рисунок.

Райский был на седьмом небе.

Потом повели в конюшню, оседлали лошадей, ездили в манеже и по двору, и Райский ездил. Две дочери, одна черненькая, другая беленькая, еще с красненькими, длинными, не по росту, кистями рук, как бывает у подрастающих девиц, но уже затянутые в корсет и бойко говорящие французские фразы, обворожили юношу.

С приятным волнением и задумчиво ехал оттуда Райский. Ему бы хотелось домой; но бабушка велела еще повернуть в какой-то переулок.

– Куда, бабушка? Пора домой, – сказал Райский.

– Вот еще к старичкам Молочковым заедем, да и домой.

– Чем же они замечательны?

– Да тем, что они... старички...

– Ну, вот, старички! – с неудовольствием проговорил Райский, под впечатлением от живой картины предводительского дома и поцелуя Полины Карповны.

– Почтенные такие, – сказала бабушка, – лет по восьмидесяти мужу и жене. И не слышать их в городе: тихо у них, и мухи не летают. Сидят да шепчутся, да угождают друг другу. Вот пример всякому: прожили век, как будто проспали. Ни детей у них, ни родных! Дремут да живут!

– Старички! – с неудовольствием говорил Райский.

– Что морщишься: надо уважать старость.

³⁵ Да у вас, сударь, и в самом деле талант! (фр.)

В самом деле, муж и жена, к которым они приехали, были только старички, и больше ничего. Но какие бодрые, тихие, задумчивые, хорошенькие старички!

Оба такие чистенькие, так свежо одеты; он выбрит, она в седых буклях, так тихо говорят, так любовно смотрят друг на друга и так им хорошо в темных, прохладных комнатах, с опущенными шторами. И в жизни, должно быть, хорошо!

Бабушка с почтением и с завистью, а Райский с любопытством глядел на стариков, слушал, как они припоминали молодость, не верил их словам, что она была первая красавица в губернии, а он – молодец и сводил будто женщин с ума.

Он поиграл и им, по настоянию бабушки, и унес какое-то тихое воспоминание, дремлющую картину в голове об этой давно и медленно ползущей жизни.

Но «Армида» и две дочки предводителя царствовали наперекор всему. Он попеременно ставил на пьедестал то одну, то другую, мысленно становился на колени перед ними, пел, рисовал их, или грустно задумывался, или мурашки бегали по нем, и он ходил, подняв голову высоко, пел на весь дом, на весь сад, плавал в безумном восторге. Несколько суток он беспокойно спал, метался...

Перед ним носится какая-то картина: он стыдливо и лукаво смеется, кого-то ловит руками, будто обнимает, и хохочет в диком опьянении...

XII

В университете Райский делит время, по утрам, между лекциями и Кремлевским садом, в воскресенье ходит в Никитский монастырь к обедне, заглядывает на развод и посещает кондитеров Пеэра и Педотти. По вечерам сидит в «своем кружке», то есть избранных товарищей, горячих голов, великодушных сердец.

Все это кипит, шумит и гордо ожидает великой будущности.

Вглядевшись пытливо в каждого профессора, в каждого товарища, как в школе, Райский, от скуки, для развлечения, стал прислушиваться к тому, что говорят на лекции.

Как в школе у русского учителя, он не слушал законов строения языка, а рассматривал все, как говорит профессор, как падают у него слова, как кто слушает.

Но лишь коснется речь самой жизни, являются на сцену лица, события, заговорят в истории, в поэме или романе, греки, римляне, германцы, русские – но живые лица, – у Райского ухо невольно открывается: он весь тут и видит этих людей, эту жизнь.

Один он, даже с помощью профессоров, не сладил бы с классиками: в русском переводе их не было, в деревне у бабушки, в отцовской библиотеке, хотя и были некоторые во французском переводе, но тогда еще он, без руководства, не понимал значения и обегал их. Они казались ему строги и сухи.

Только на втором курсе, с двух или трех кафедр, заговорили о них, и у «первых учеников» явились в руках оригиналы. Тогда Райский сблизился с одним забитым бедностью и робостью товарищем Козловым.

Этот Козлов, сын дьякона, сначала в семинарии, потом в гимназии и дома – изучил греческий и латинский языки и, учась им, изучил древнюю жизнь, а современной почти не замечал.

Райский приласкал его и приласкался к нему, сначала ради его одиночества, сосредоточенности, простоты и доброты, потом вдруг открыл в нем страсть, «священный огонь», глубину понимания до степени ясновидения, строгость мысли, тонкость анализа – относительно древней жизни.

Он-то и посвятил Райского, насколько поддалась его живая, вечно, как море, волнуемая натура, в тайны разумения древнего мира, но задержать его надолго, навсегда, как сам задержался на древней жизни, не мог.

Райский унес кое-что оттуда и ускользнул, оставив Козлову свою дружбу, а у себя навсегда образ его простой, младенческой души.

От Плутарха и «Путешествия Анахарсиса Младшего» он перешел к Титу Ливию и Тациту, зарываясь в мелких деталях первого и в сильных сказаниях второго, спал с Гомером, с Дантом и часто забывал жизнь около себя, живя в анналах, сагах, даже в русских сказках...

А когда зададут тему на диссертацию, он терялся, впадал в уныние, не зная, как приступить к рассуждению, например, «об источниках к изучению народности», или «о древних русских деньгах», или «о движении народов с севера на юг».

Он, вместо того чтоб рассуждать, вглядывается в движение народов, как будто оно перед глазами. Он видит, как туча народа, точно саранча, движется, располагается на бивуаках, зажигает костры; видит мужчин в звериных шкурах, с дубинами, оборванных матерей, голодных детей; видит, как они режут, истребляют все на пути, как гибнут отсталые. Видит серое небо, скудные страны и даже древние русские деньги; видит так живо, что может нарисовать, но не знает, как «рассуждать» об этом: и чего тут рассуждать, когда ему и так видно?

Летом любил он уходить в окрестности, забирался в старые монастыри и вглядывался в темные углы, в почернелые лики святых и мучеников, и фантазия, лучше профессоров, уносила его в русскую старину.

Там, точно живые, толпились старые цари, монахи, воины, подьячие. Москва казалась необъятным ветхим царством. Драки, казни, татары, Донские, Иоанны – все приступало к нему, все звало к себе в гости, смотреть на их жизнь.

Долго, бывало, смотрит он, пока не стукнет что-нибудь около: он очнется – перед ним старая стена монастырская, старый образ: он в келье или в тереме. Он выйдет задумчиво из копоты древнего мрака, пока не обвеет его свежий, теплый воздух.

Райский начал писать и стихи, и прозу, показал сначала одному товарищу, потом другому, потом всему кружку, а кружок объявил, что он талант.

Тогда Борис приступил к историческому роману, написал несколько глав и прочел также в кружке. Товарищи стали уважать его, «как надежду», ходили с ним толпой.

Райский и кружок его падали только на репетициях и на экзаменах, они уходили тогда на третий план и на четвертую скамью.

На первой и второй являлись опять-таки «первые ученики», которые так смиренно сидят на лекции, у которых все записки есть, которые гордо и спокойно идут на экзамен и еще более гордо и спокойно возвращаются с экзамена: это – будущие кандидаты.

Они холодно смотрели на кружок, определили Райского словом «романтик», холодно слушали или вовсе не слушали его стихи и прозу и не ставили его ни во что.

Они одинаково прилежно занимались по всем предметам, не пристращаясь ни к одному исключительно. И после, в службе, в жизни, куда их ни сунут, в какое положение ни поставят – везде и всякое дело они делают «удовлетворительно», идут ровно, не увлекаясь ни в какую сторону.

Товарищи Райского показали его стихи и прозу «гениальным» профессорам, «пророкам», как их звал кружок, хвостом ходивший за ними.

– Ах, Иван Иваныч! Ах, Петр Петрович! Это гении, наши светила! – закатывая глаза под лоб, повторяли восторженно юноши.

Один из «пророков» разобрал стихи публично на лекции и сказал, что «в них преобладает элемент живописи, обилие образов и музыкальность, но нет глубины и мало силы», однако предсказывал, что с годами это придет, поздравил автора тоже с талантом и советовал «беречь и лелеять музу», то есть заняться серьезно.

Райский, шатаясь от упоения, вышел из аудитории, и в кружке, по этому случаю, был трехдневный рев.

Другой «пророк» прочел начало его романа и пригласил Райского к себе.

Он вышел от профессора, как из бани, тоже с патентом на талант и с кучей старых книг, летописей, грамот, договоров.

– Готовьте серьезным изучением ваш талант, – сказал ему профессор, – у вас есть будущность.

Райский еще «серьезнее» занялся хождением в окрестности, проникал опять в старые здания, глядел, щупал, нюхал камни, читал надписи, но не разобрал и двух страниц данных профессором хроник, а писал русскую жизнь, как она снилась ему в поэтических видениях, и кончил тем, что очень «серьезно» написал шутивную поэму, воспев в ней товарища, написавшего диссертацию «о долговых обязательствах» и никогда не платившего за квартиру и за стол хозяйке.

Переходил он из курса в курс с затруднениями, все теряясь и сбиваясь на экзаменах. Но его выкупала репутация будущего таланта, несколько удачных стихотворений и прозаические взмахи и очерки из русской истории.

– Вы куда хотите поступить на службу? – вдруг раздался однажды над ним вопрос декана. – Через неделю вы выйдете. Что вы будете делать?

Райский молчал.

– Какое звание изберете? – спросил опять тот.

«Я... художником хочу быть...» – думал было он сказать, да вспомнил, как приняли это опекун и бабушка, и не сказал.

– Я... стихи буду писать.

– Но ведь это не звание: это так... между прочим, – заметил декан.

– И повести тоже... – сказал Райский.

– И повести можно: конечно, у вас есть талант. Но ведь это впоследствии, когда талант выработается. А звание... звание, я спрашиваю?

– Сначала я пойду в военную службу, в гвардию, а потом в статскую, в прокуроры... в губернаторы... – отвечал Райский.

Декан улыбнулся.

– Стало быть, прежде в юнкера – вот это понятно! – сказал он. – Вы да Леонтий Козлов только не имеете ничего в виду, а прочие все имеют назначение.

Когда Козлова спрашивали, куда он хочет, он отвечал: «В учителя куда-нибудь в губернию», – и на том уперся.

XIII

В Петербурге Райский поступил в юнкера: он с одушевлением скакал во фронте, млея и горя, с бегающими по спине мурашками, при звуках полковой музыки, вытягивался, стуча саблех и шпорами, при встрече с генералами, а по вечерам в удалой компании на тройках уносился за город, на веселые пикники, или брал уроки жизни и любви у столичных русских и нерусских «Армид», в том волшебном царстве, где «гаснет вера в лучший край».

В самом деле, у него чуть не погасла вера в честь, честность, вообще в человека. Он, не желая, не стараясь, часто бегая прочь, изведаль этот «чудесный мир» – силою своей впечатлительной натуры, вбравшей в себя, как губка, все задевавшие его явления.

Женщины того мира казались ему особой породой. Как пар и машины заменили живую силу рук, так там целая механика жизни и страстей заменила природную жизнь и страсти. Этот мир – без привязанностей, без детей, без колыбелей, без братьев и сестер, без мужей и без жен, а только с мужчинами и женщинами.

Мужчины, одни, среди дел и забот, по лени, по грубости, часто бросая теплый огонь, тихие симпатии семьи, бросаются в этот мир всегда готовых романов и драм, как в игорный дом, чтоб охмелеть в чаду притворных чувств и дорого купленной неги. Других молодость и пыл влекут туда, в царство поддельной любви, со всей утонченной ее игрой, как гастронома влечет от домашнего простого обеда изысканный обед искусного повара.

Там царствует бесконечно разнообразный расчет: расчет роскоши, расчет честолубия, расчет зависти, редко – самолюбия и никогда – сердца, то есть чувства. Красавицы приносят все в жертву расчету: самую страсть, если постигает их страсть, даже темперамент, когда потребует того роль, выгода положения.

Они – не жертвы общественного темперамента, как те несчастные создания, которые, за кусок хлеба, за одежду, за обувь и кров, служат животному голоду. Нет: там жрицы сильных, хотя искусственных страстей, тонкие актрисы, играют в любовь и жизнь, как игрок в карты.

Там нет глубоких целей, нет прочных конечных намерений и надежд. Бурная жизнь не манит к тихому порту. У жрицы этого культа, у «матери наслаждений» – нет в виду, как и у истинного игрока по страсти, выиграть фортуна и кончить, оставить все, успокоиться и жить другой жизнью.

Если бы явилась в том круге такая, она потеряла бы свой характер, свою прелесть: ее, как игрока, увлекут от прочного и доброго пути, или она утратит цену в глазах поклонников, потеряв свободу понятий и нравов.

Жизнь ее – вечная игра в страсти, цель – нескончаемое наслаждение, переходящее в привычку, когда она устанет, пресытится. У ней один ужас впереди – это состариться и стать ненужной.

Больше она ничего не боится. Играя в страсти, она принимает все виды, все лица, все характеры, нужные для роли, заимствуя их, как маскарадные платья, напрокат. Она робка, скромна или горда, неприступна или нежна, послушна – смотря по роли, по моменту.

Но, сбросив маску, она часто зла, груба и даже страшна. Испугать и оскорбить ее нельзя, а она не задумается, для мщенья или для забавы, разрушить семейное счастье, спокойствие человека, не говоря о фортуна: разрушать экономическое благосостояние – ее призвание.

Ее должна окружать бесконтрольная роскошь. Желаний она не должна успевать иметь.

Квартира у нее – храм, но походящий на выставку мебели, дорогих безделиц. Вкус в убранстве принадлежит не хозяйке, а мебельщику и обойщику.

Печати тонкой, артистической жизни нет: та, у кого бы она была, не могла бы жить этой жизнью: она задохнулась бы. Там вкус – в сервизах, экипажах, лошадях, лакеях, горничных, одетых, как балетные феи.

Если случайно попадет туда высокой кисти картина, дорогая статуя – они ценятся не удивлением кисти и резцу, а заплаченной суммой.

Ни хозяина, ни хозяйки, ни детей, ни старых преданных слуг – нет в ее квартире.

Она живет – как будто на станции, в дороге, готовая ежеминутно выехать. Нет у нее друзей – ни мужчин, ни женщин, а только множество знакомых.

Жизнь красавицы этого мира или «тряпичного царства», как называл его Райский, – мелкий, пестрый, вечно движущийся узор: визиты в своем кругу, театр, катанье, роскошные до безобразия завтраки и обеды до утра, и ночи, продолжающиеся до обеда. Забота одна – чтоб не было остановок от пестроты.

Пустой, не наполненный день, вечер – без суеты, выездов, театра, свиданий – страшен. Тогда проснулась бы мысль, с какими-нибудь докучливыми вопросами, пожалуй, чувство, совесть, встал бы призрак будущего...

Она со страхом отряхнется от непривычной задумчивости, гонит вопросы – и ей опять легко. Это бывает редко и у немногих. Мысль у ней большею частию нетронута, сердце отсутствует, знания никакого.

Накупать брильянтов, конечно, не самой (это все, что есть неподдельного в ее жизни) – нарядов, непременно больше, чем нужно, делая фортуна поставщиков, – вот главный пункт ее тщеславия.

Широкая затея – это вояж: прикинуться графиней в Париже, занять палаццо в Италии, сверкнуть золотом и красотой, покоряя мимоходом того, другого, смотря по рангу, положению, фортуна.

Идеал мужчины у нее – прежде всего *homme genereux, liberal*,³⁶ который «благородно» сыплет золотом, потом *comte, prince*³⁷ и т. п. Понятия об уме, чести, нравах – свои, особенные.

Уродство в мужчине – это экономия, сдержанность, порядок. Скупой в ее глазах – изверг.

Райский, кружась в свете петербургской «золотой молодежи», бывши молодым офицером, потом молодым бюрократором, заплатил обильную дань поклонения этой красоте и, уходя, унес глубокую грусть надолго и много опытов, без которых мог обойтись.

Напрасно упрявился он оставаться офицером, ему неотступно снились то Волга и берега ее, тенистый сад и роща с обрывом, то видел он дикие глаза и исступленное лицо Васюкова и слышал звуки скрипки.

Снилась ему широкая арена искусства: академия или консерватория, любил он вообразить себя тружеником искусства.

Ему рисовалась темная, запыленная мастерская, с завешанным светом, с кусками мрамора, с начатыми картинами, с манекеном, – и сам он, в изящной блузе, с длинными волосами, с негой и счастьем смотрит на свое произведение: под кистью у него рождается чья-то голова.

Она еще не одушевлена, в глазах нет жизни, огня. Но вот он посадит в них две магические точки, проведет два каких-то резких штриха, и вдруг голова ожила, заговорила, она смотрит так открыто, в ней горят мысль, чувство, красота...

В комнату заглядывают робко посетители, шепчутся...

³⁶ человек великодушный, либеральный (*фр.*).

³⁷ граф, князь (*фр.*).

Наконец вот выставка. Он из угла смотрит на свою картину, но ее не видать, перед ней толпа, там произносят его имя. Кто-то изменил ему, назвал его, и толпа от картины обратилась к нему.

Он сконфузился и очнулся.

Он подал просьбу к переводу в статскую службу и был посажен к Аянову в стол. Но читатель уже знает, что и статская служба удалась ему не лучше военной. Он оставил ее и стал ходить в академию.

Он робко пришел туда и осмотрелся кругом. Все сидят молча и рисуют с бюстов. Он начал тоже рисовать, но через два часа ушел и стал рисовать с бюста дома.

Но дома то сигару закурит, то сядет с ногами на диван, почитает или замечтается, и в голове раздадутся звуки. Он за фортепиано – и забудется.

Недели через три он опять пошел в академию: там опять все молчат и рисуют с бюстов.

Он кое с кем из товарищей познакомился, зазвал к себе и показал свою работу.

– У вас есть талант, где вы учились? – сказали ему, – только... вон эта рука длинна... да и спина не так... рисунок не верен!

Между тем затеяли пирушку, пригласили Райского, и он слышал одно: то о колорите, то о бюстах, о руках, о ногах, о «правде» в искусстве, об академии, а в перспективе – Дюссельдорф, Париж, Рим. Отмеривали при нем года своей практики, ученичества, или «мученичества», прибавлял Райский. Семь, восемь лет – страшные цифры. И все уже взрослые.

Он не ходил месяцев шесть, потом пошел, и те же самые товарищи рисовали... с бюстов.

Он взглянул в другой класс: там стоял натурщик, и толпа молча рисовала с натуры торс.

Райский пришел через месяц – и то же углубление в торс и в свой рисунок. То же молчание, то же напряженное внимание.

Он пошел в мастерскую профессора и увидел сшившуюся ему картину: запыленную комнату, завешанный свет, картины, маски, руки, ноги, манекен... все.

Только художник представился ему не в изящной блузе, а в испачканном пальто, не с длинными волосами, а гладко стриженный; не нега у него на лице, а мука внутренней работы и беспокойство, усталость. Он вперяет мучительный взгляд в свою картину, то подходит к ней, то отойдет от нее, задумывается...

Потом вдруг опять, как будто утонет, замрет, онемееет, только глаза блестят, да рука, как бешеная, стирает, заглаживает прежнее и торопится бросать новую, только что пойманную, вымученную черту, как будто боясь, что она забудется...

Робко ушел к себе Райский, натянул на рамку холст и начал чертить мелом. Три дня чертил он, стирал, опять чертил и, бросив бюсты, рисунки, взял кисть.

Три полотна переменил он и на четвертом нарисовал ту голову, которая снилась ему, голову Гектора и лицо Андромахи и ребенка. Но рук не доделал: «Это последнее дело, руки!» – думал он. Костюмы набросал наобум, кое-как, что наскоро прочел у Гомера: других источников под рукой не было, а где их искать и скоро ли найдешь?

Полгода он писал картину. Лица Гектора и Андромахи поглотили все его творчество, аксессуарами он не занимался: «Это после, когда-нибудь».

Ребенка нарисовал тоже кое-как, и то нарисовал потому, что без него не верна была бы сцена прощания.

Он хотел показать картину товарищам, но они сами красками еще не писали, а всё копировали с бюстов, нужды нет, что у самих бороды поросли.

Он решился показать профессору: профессор не заносчив, снисходителен и, вероятно, оценит труд по достоинству. С замирающим сердцем принес он картину и оставил в коридоре.

Профессор велел внести ее в мастерскую, посмотрел.

– Что это за блин? – сказал он, скользнув взглядом по картине, но, взглянув мельком в другой раз, вдруг быстро схватил ее, поставил на мольберт и вонзил в нее испытующий взгляд, сильно сдвинув брови.

– Это вы делали? – спросил он, указав на голову Гектора.

– Я-с.

– И это вы? – Профессор указал на Андромаху.

– Тоже я-с.

– А это? – спрашивал тот, указывая на ребенка.

– Я же.

– Не может быть: это двое делали, – отрывисто отвечал профессор и, отворив дверь в другую комнату, закричал: – Иван Иванович!

Пришел Иван Иванович, какой-то художник.

– Посмотри!

Он показал ему на головы двух фигур и ребенка. Тот молча и пристально рассматривал. Райский дрожал.

– Что ты видишь? – спросил профессор.

– Что? – сказал тот, – это не из наших. Кто же приделал голову к этой мазне!.. Да, голова... мм... а ухо не на месте. Кто это?

Профессор спросил Райского, где он учился, подтвердил, что у него талант, и разразился сильной бранью, узнав, что Райский только раз десять был в академии и с бюстов не рисует.

– Посмотрите: ни одной черты нет верной. Эта нога короче, у Андромахи плечо не на месте; если Гектор выпрямится, так она ему будет только по брюхо. А эти мускулы, посмотрите...

Он обнажил и показал колено, потом руку.

– Вы не умеете рисовать, – сказал он, – вам года три надо учиться с бюстов да анатомии... А голова Гектора, глаза... Да вы ли делали?

– Я, – сказал Райский.

Профессор пожал плечами.

И Иван Иванович сделал: «Гм! У вас есть талант, это видно. Учитесь; со временем...»

«Всё учитесь: со временем!» – думал Райский. А ему бы хотелось – не учась – и сейчас.

Он в раздумье воротился домой: там нашел письма. Бабушка бранила его, что он вышел из военной службы, а опекун советовал определиться в сенат. Он прислал ему рекомендательные письма.

Но Райский в сенат не поступил, в академии с бюстов не рисовал, между тем много читал, много писал стихов и прозы, танцевал, ездил в свет, ходил в театр и к «Армидам» и в это время сочинил три вальса и нарисовал несколько женских портретов. Потом, после бешеной Масленицы, вдруг очнулся, вспомнил о своей артистической карьере и бросился в академию: там ученики молча, углубленно рисовали с бюста, в другой студии писали с торса...

XIV

В назначенный вечер Райский и Беловодова опять сошлись у ней в кабинете. Она была одета, чтобы ехать в спектакль: отец хотел заехать за ней с обеда, но не заезжал, хотя было уже половина восьмого.

— Я все думаю о нашем разговоре, кузина: а вы? — спросил он.

— Я, cousin... виновата: не думала о нем. Что такое вы говорили!.. Ах да! — припомнила она. — Вы что-то меня спрашивали.

— И вы что-то мне обещали.

— Что же?

— Рассказать... какую-то «глупость», ребячество и потом вашу законную любовь...

— Все это так просто, cousin, что я даже не сумею рассказать: спросите у всякой замужней женщины. Вот хоть у Catherine...

— Ах, нет, кузина, только не у Catherine: наряды и выезды, выезды и наряды...

— Что мне вам рассказывать? Я не знаю, с чего начать. Paul сделал через княгиню предложение, та сказала маман, маман теткам; позвали родных, потом объявили папа... Как все делают.

— Ему после всех! — весело заметил Райский. — А вы когда узнали?

— В тот же вечер, разумеется. Какой вопрос! Не думаете ли вы, что меня принуждали!..

— Нет, нет, кузина: не так рассказываете. Начните, пожалуйста, с воспитания. Как, где вы воспитывались? Прежде расскажите ту «глупость»...

— Дома воспитывалась, вы знаете... Маман была строга и серьезна, никогда не шутила, почти не смеялась, ласкала мало, все ее слушались в доме: няньки, девушки, гувернантки делали все, что она приказывала, и папа тоже. В детскую она не ходила, но порядок был такой, как будто она там жила. Когда мне было лет семь, за мной, помню, ходила немка Маргарита: она причесывала и одевала меня, потом будили мисс Дредсон и шли к маман. Маман, прежде нежели поздоровается, пристально поглядит мне в лицо, обернет меня раза три, посмотрит, все ли хорошо, даже ноги посмотрит, потом глядит, как я делаю кникс, и тогда поцелует в лоб и отпустит. После завтрака меня водили гулять или в дурную погоду ездили в коляске...

— Как вы шалили, резвились? расскажите...

— Я не шалила: мисс Дредсон шла рядом и дальше трех шагов от себя не пускала. Однажды мальчик бросил мячик, он покатился мне в ноги, я поймала его и побежала отдать ему, мисс сказала маман, и меня три дня не пускали гулять. Впрочем, я мало помню, что было, помню только, что ездил танцмейстер и учил: *chasse en avant, chasse a gauche, tenez-vous droit, pas de grimaces*...³⁸ После обеда мне позволяли в большой зале играть час в мячик, прыгать через веревочку, но тихонько, чтоб не разбить зеркал и не топтать ногами. Маман не любила, когда у меня раскраснеются щеки и уши, и потому мне не велено было слишком бегать. Еще уверяли, что будто я... — она засмеялась, — язык показывала, когда рисую и пишу, и даже танцую — и оттого *pas de grimaces* раздавалось чаще всего.

— *Chasse en avant, chasse a gauche* и *pas de grimaces*: да, это хороший курс воспитания: все равно что военная выправка. Что же дальше?

— Дальше, приставили французенку, *madame Clery*,³⁹ но... не знаю, почему-то скоро отпустили. Я помню, как папа защищал ее, но маман слышать не хотела...

³⁸ шаг вперед, шаг налево, держитесь прямой, не гримасничайте... (фр.)

³⁹ мадам Клери (фр.).

– Ну, теперь я вижу, что у вас не было детства: это кое-что объясняет мне... Учили вас чему-нибудь? – спросил он.

– Без сомнения: *histoire, geographie, calligraphie, l'orthographie*,⁴⁰ еще по-русски...

Здесь Софья Николаевна немного остановилась.

– Я уверен, что мы подходим к катастрофе и что герой ее – русский учитель, – сказал Райский. – Это наши *jeunes premiers*...⁴¹

– Да... вы угадали! – засмеявшись, отвечала Беловодова. – Я все уроки учила одинаково, то есть все дурно. В истории знала только двенадцатый год, потому что *mon oncle, prince Serge*,⁴² служил в то время и делал кампанию, он рассказывал часто о нем; помнила, что была Екатерина Вторая, еще революция, от которой бежал *monsieur de Querney*,⁴³ а остальное все... там эти войны, греческие, римские, что-то про Фридриха Великого – все это у меня путалось. Но по-русски, у *monsieur Ельнина*, я выучила почти все, что он задавал.

– До сих пор все идет прекрасно. Что же вы делали еще?

– Читали. Он прекрасно читал, приносил книги...

– Какие же книги?

– Я теперь забыла...

– Что же дальше, кузина?

– Потом, когда мне было шестнадцать лет, мне дали особые комнаты и поселили со мной *ma tante* Анну Васильевну, а мисс Дредсон уехала в Англию. Я занималась музыкой, и мне оставили французского профессора и учителя по-русски, потому что тогда в свете заговорили, что надо знать по-русски почти так же хорошо, как по-французски...

– *Monsieur Ельнин* был очень... очень... мил, хорош и... *comme il faut*?⁴⁴ – спросил Райский.

– *Oui, il etait tout-a-fait bien*,⁴⁵ – сказала, покраснев немного, Беловодова, – я привыкла к нему... и когда он манкировал, мне было досадно, а однажды он заболел и недели три не приходил...

– Вы были в отчаянии? – перебил Райский, – плакали, не спали ночей и молились за него? Да? Вам было...

– Мне было жаль его, – и я даже просила папа послать узнать о его здоровье...

– Даже! Ну, что ж папа?

– Сам съездил, нашел его *convalescent*⁴⁶ и привез к нам обедать. *Maman* сначала было рассердилась и начала сцену с папа, но Ельнин был так приличен, скромен, что и она пригласила его на наши *soirees musicales* и *dansantes*.⁴⁷ Он был хорошо воспитан, играл на скрипке...

– Что же дальше? – с нетерпением спросил Райский.

– Когда папа привез его в первый раз после болезни, он был бледен, молчалив... глаза такие томные... Мне стало очень жаль его, и я спросила за столом, чем он был болен!.. Он взглянул на меня с благодарностью, почти нежно... Но *maman* после обеда отвела меня в сторону и сказала, что это ни на что не похоже – девице спрашивать о здоровье постороннего молодого человека, еще учителя, «и бог знает, кто он такой!» – прибавила она. Мне стало стыдно, я ушла и плакала в своей комнате, потом уж никогда ни о чем его не спрашивала...

⁴⁰ история, география, каллиграфия, орфография (фр.).

⁴¹ сердцееды... (фр.)

⁴² мой дядя, князь Серж (фр.).

⁴³ господин де Керни (фр.).

⁴⁴ благовоспитан (фр.).

⁴⁵ Да, вполне (фр.).

⁴⁶ выздоравливающим (фр.).

⁴⁷ музыкальные и танцевальные вечера (фр.).

– Дело! – иронически заметил Райский, – чуть было с Олимпа спустились одной ногой к людям – и досталось.

– Не перебивайте меня: я забуду, – сказала она. – Ельнин продолжал читать со мной, заставлял и меня сочинять, но татап велела больше сочинять по-французски.

– Что ж Ельнин, все читал?

– Да, читал и аккомпанировал мне на скрипке: он был странен, иногда задумается и молчит полчаса, так что вздрогнет, когда я назову его по имени, смотрит на меня очень странно... как иногда вы смотрите, или сядет так близко, что испугает меня. Но мне не было... досадно на него... Я привыкла к этим странностям; он раз положил свою руку на мою: мне было очень неловко. Но он не замечал сам, что делает, – и я не отняла руки. Даже однажды... когда он не пришел на музыку, на другой день я встретила его очень холодно...

– Браво! а предки ничего?

– Смейтесь, cousin: оно в самом деле смешно...

– Я радуюсь, кузина, а не смеюсь: не правда ли, вы жили тогда, были счастливы, веселы, – не так, как после, как теперь!..

– Да, правда: мне, как глупой девочке, было весело смотреть, как он вдруг робел, боялся взглянуть на меня, а иногда, напротив, долго глядел, – иногда даже побледнеет. Может быть, я немного кокетничала с ним, по-детски, конечно, от скуки... У нас было иногда... очень скучно! Но он был, кажется, очень добр и несчастлив: у него не было родных никого. Я принимала большое участие в нем, и мне было с ним весело, это правда. Зато как я дорого заплатила за эту глупость!..

– Ах, скорее! – сказал Райский, – жду драмы.

– В день моих именин у нас был прием, меня уже вывозили. Я разучивала сонату Бетховена, ту, которою он восхищался и которую вы тоже любите...

– Так вот откуда совершенство, с которым вы играете ее... Дальше, кузина: это интересно!

– В свете уж обо мне тогда знали, что я люблю музыку, говорили, что я буду первоклассная артистка. Прежде татап хотела взять Гензельта, но, услышавши это, отдумала.

– Мудрость предков говорит, что неприлично артисткой быть! – заметил Райский.

– Я ждала этого вечера с нетерпением, – продолжала Софья, – потому что Ельнин не знал, что я разучиваю ее для...

Беловодова остановилась в смущении.

– Понимаю! – подсказал Райский.

– Все собрались, тут пели, играли другие, а его нет; татап два раза спрашивала, что ж я, сыграю ли сонату? Я отговаривалась, как могла, наконец она приказала играть: j'avais le coeur gros⁴⁸ – и села за фортепиано. Я думаю, я была бледна; но только я сыграла интродукцию, как вижу в зеркале – Ельнин стоит сзади меня... Мне потом сказали, что будто я вспыхнула: я думаю, это неправда, – стыдливо прибавила она. – Я просто рада была, потому что он понимал музыку...

– Кузина! говорите сами, не заставляйте говорить предков.

– Я играла, играла...

– С одушевлением, горячо, со страстью... – подсказывал он.

– Я думаю – да, потому что сначала все слушали молча, никто не говорил банальных похвал: «Charmant, bravo»,⁴⁹ а когда кончила – все закричали в один голос, окружили меня... Но я не обратила на это внимания, не слышала поздравлений: я обернулась, только лишь кончила, к нему... Он протянул мне руку, и я...

⁴⁸ на сердце у меня было тяжело (фр.).

⁴⁹ Прелестно, bravo (фр.).

Софья остановилась в смущении...

– Ну, вы бросились к нему...

– Уж и бросилась! Нет, я протянула ему тоже руку, и он... пожал ее! и кажется, мы оба покраснели...

– Только?

– Я скоро опомнилась и стала отвечать на поздравления, на приветствия, хотела подойти к маман, но взглянула на нее, и... мне страшно стало: подошла к теткам, но обе они сказали что-то вскользь и отошли. Ельнин из угла следил за мной такими глазами, что я ушла в другую комнату. Маман, не простясь, ушла после гостей к себе. Надежда Васильевна, прощаясь, покачала головой, а у Анны Васильевны на глазах были слезы...

– Помешательства бывают разные, – заметил Райский, – эти все рехнулись на приличии... Ну, что же наутро?

– Наутро, – продолжала Софья со вздохом, – я ждала, пока позовут меня к маман, но меня долго не звали. Наконец за мной пришла *ma tante*, Надежда Васильевна, и сухо сказала, чтобы я шла к маман. У меня сердце сильно билось, и я сначала даже не разглядела, что было и кто был у маман в комнате. Там было темно, портьеры и шторы спущены, маман казалась утомлена; подло нее сидели тетушка, *mon oncle*, *prince Serge*, и папа...

– Весь ареопаг – портреты тут!

– Папа стоял у камина и грелся. Я посмотрела на него и думала, что он взглянет на меня ласково: мне бы легче было. Но он старался не глядеть на меня; бедняжка боялся маман, а я видела, что ему было жалко. Он все жевал губами: он это всегда делает в ажитации, вы знаете.

– И что же они?

– «Позвольте вас спросить, кто вы и что вы?» – тихо спросила маман. «Ваша дочь», – чуть-чуть внятно ответила я. «Не похоже. Как вы ведете себя?»

Я молчала: отвечать было нечего...

– Боже мой! нечего! – произнес Райский...

– «Что это за сцену разыграли вы вчера: комедию, драму? Чье это сочинение, ваше или учителя этого... Ельнина?» – «Маман, я не играла сцены, я нечаянно...» – едва проговорила я, так мне было тяжело. «Тем хуже, – сказала она, – *il y a donc du sentiment là dedans?*⁵⁰ Вот послушайте, – обратилась она к папа, – что говорит ваша дочь... как вам нравится это признание!...» Он, бедный, был смущен и жалок больше меня и смотрел вниз; я знала, что он один не сердится, а мне хотелось бы умереть в эту минуту со стыда... «Знаете ли, кто он такой, ваш учитель?» – сказала маман. – Вот князь *Serge* все узнал: он сын какого-то лекаря, бегаёт по урокам, сочиняет, пишет русским купцам французские письма за границу за деньги, и этим живет...» – «Какой срам!» – сказала *ma tante*. Я не дослушала дальше, мне сделалось дурно. Когда я опомнилась, подле меня сидели обе тетушки, а папа стоял со спиртом. Маман не было. Я не видала ее две недели. Потом, когда увиделись, я плакала, просила прощения. Маман говорила, как поразила ее эта сцена, как она чуть не занемогла, как это все заметила кузина Нелюбова и пересказала Михиловым, как те обвинили ее в недостатке внимания, бранили, зачем принимали бог знает кого. «Вот чему ты подвергла меня!» – заключила маман. Я просила простить и забыть эту глупость и дала слово вперед держать себя прилично.

Райский расхохотался.

– Я думал, бог знает какая драма! – сказал он. – А вы мне рассказываете историю шестилетней девочки! Надеюсь, кузина, когда у вас будет дочь, вы поступите иначе...

– Как же: отдать ее за учителя? – сказала она. – Вы не думаете сами серьезно, чтоб это было возможно!

⁵⁰ значит, тут замешано чувство? (*фр.*)

– Почему нет, если он честен, хорошо воспитан!..

– Никто не знает, честен ли Ельнин: напротив, *ma tante* и *matan* говорили, что будто у него были дурные намерения, что он хотел вскружить мне голову... из самолюбия, потому что серьезных намерений он иметь не смел...

– Нет! – пылко возразил Райский, – вас обманули. Не бледнеют и не краснеют, когда хотят кружить головы ваши франты, кузены, *prince Pierre*, *comte Serge*:⁵¹ вот у кого дурное на уме! А у Ельнина не было никаких намерений, он, как я вижу из ваших слов, любил вас искренно. А эти, – он, не оборачиваясь, указал назад на портреты, – женятся на вас *par convenance*⁵² и потом меняют на танцовщицу...

– *Cousin*! – серьезно, почти с испугом, сказала она.

– Да, кузина, вы сами знаете это...

– Что же мне было делать? Сказать *matan*, что я выйду за *monsieur* Ельнина...

– Да, упасть в обморок не от того, от чего вы упали, а от того, что осмелились распоряжаться вашим сердцем, потом уйти из дома и сделаться его женой. «Сочиняет, пишет письма, дает уроки, получает деньги, и этим живет!» В самом деле, какой позор! А они, – он опять указал на предков, – получали, ничего не сочиняя, и проедали весь свой век чужое – какая слава!.. Что же случилось с Ельниным?

– Не знаю, – равнодушно сказала она, – ему отказали от дома, и я не видала его никогда.

– И вы – ничего?

– Ничего...

– Перед вами являлась лицом к лицу настоящая живая жизнь, счастье – и вы оттолкнули его от себя! из чего, для чего?

– Но, *cousin*, вы знаете, что я была замужем и жила этой жизнью...

– С ним? – спросил он, глядя на портрет ее мужа.

– С ним! – сказала она, глядя с кроткой лаской тоже на портрет.

– Как вы вышли замуж?

– Очень просто. Он тогда только что воротился из-за границы и бывал у нас, рассказывал, что делается в Париже, говорил о королеве, о принцессах, иногда обедал у нас и через княгиню сделал предложение.

– Ну, когда согласились и вы остались с ним в первый раз одни... что он...

– Ничего! – сказала она с улыбкой удивления.

– Но ведь... говорил же он вам, почему искал вашей руки, что его привлекло к вам... что не было никого прекраснее, блистательнее...

– И «что он никогда не кончил бы, говоря обо мне, но боится быть сентиментальным...» – добавила она.

– Потом?

– Потом сел играть в карты, а я пошла одеваться; в этот вечер он был в нашей ложе и на другой день объявлен женихом.

– В самом деле это очень просто! – заметил Райский. – Ну, потом, после свадьбы!..

– Мы уехали за границу.

– А! наконец не до света, не до родных: куда-нибудь в Италию, в Швейцарию, на Рейн, в уголок, и там сердце взяло свое...

– Нет, нет, *cousin*, – мы поехали в Париж: мужу дали поручение, и он представил меня ко двору.

– Господи! – воскликнул Райский, – этого не доставало!

⁵¹ князь Пьер, граф Серж (*фр.*).

⁵² выгоды ради (*фр.*).

– Я была очень счастлива, – сказала Беловодова, и улыбка и взгляд говорили, что она с удовольствием глядит в прошлое. – Да, cousin, когда я в первый раз приехала на бал в Тюльери и вошла в круг, где был король, королева и принцы...

– Все ахнули? – сказал Райский.

Она кивнула головой, потом вздохнула, как будто жалея, что это прекрасное прошлое невосвратимо.

– Мы принимали в Париже; потом уехали на воды; там муж устраивал праздники, балы: тогда писали в газетах.

– И вы были счастливы?

– Да, – сказала она, – счастлива: я никогда не видала недовольной мины у Paul, не слыхала...

– Нежного, задушевного слова, не видали минуты увлечения?

Она задумчиво и отрицательно покачала головой.

– Не слыхала отказа в желаниях, даже в капризах... – добавила она.

– Будто у вас были и капризы?

– Да: в Вене он за полгода велел приготовить отель, мы приехали, мне не понравилось, и...

– Он нанял другой: какой нежный муж!

– Какое внимание, *egard*,⁵³ – говорила она, – какое уважение в каждом слове!..

– Еще бы: ведь вы Пахотина; шутка ли?

– Да, я была счастлива, – решительно сказала она, – и уже так счастлива не буду!

– И слава Богу: аминь! – заключил он. – Канарейка тоже счастлива в клетке, и даже поет; но она счастлива канареечным, а не человеческим счастьем... Нет, кузина, над вами совершенно систематически утонченное умерщвление свободы духа, свободы ума, свободы сердца! Вы – прекрасная пленница в светском серале и прозябаете в своем неведении.

– И не хочу менять этого неведения на ваше опасное ведение...

– Да, – перебил он, – и засидевшаяся канарейка, когда отворят клетку, не летит, а боязливо прячется в гнездо. Вы – тоже. Воскресните, кузина, от сна, бросьте ваших Catherine, madame Basile,⁵⁴ эти выезды – и узнайте другую жизнь. Когда запросит сердце свободы, не справляйтесь, что скажет кузина...

– А что скажет cousin – да?

– Да, тогда вспомните кузена Райского и смело подите в жизнь страстей, в незнакомую вам сторону...

– Но зачем же непременно страсти, – возражала она, – разве в них счастье!..

– Зачем гроза в природе!.. Страсть – гроза жизни... О, если б испытать эту сильную грозу! – с увлечением сказал он и задумался.

– Вот видите, cousin: все прочее, кроме вас, велит бежать страстей, а вы меня хотите толкнуть, чтобы потом всю жизнь раскаиваться...

– Нет, не к раскаянию поведет вас страсть: она очистит воздух, прогонит миазмы, предрассудки и даст вамдохнуть настоящей жизнью... Вы не упадете, вы слишком чисты, светлы; порочны вы быть не можете. Страсть не исказит вас, а только поднимет высоко. Вы черпнете познания добра и зла, упьетесь счастьем и потом задумаетесь на всю жизнь, – не этой красивой, сонной задумчивостью. В вашем покое будет биться пульс, будет жить сознание счастья; вы будете прекраснее во сто раз, будете нежны, грустны, перед вами откроется глубина собственного сердца, и тогда весь мир упадет перед вами на колени, как падаю я...

⁵³ предупредительность (*фр.*).

⁵⁴ Катрин, мадам Базиль (*фр.*).

Он в самом деле опускался на колени, но она сделала движение ужаса, и он остановился.

– И когда я вас встречу потом, может быть, измученную горем, но богатую и счастьем, и опытом, вы скажете, что вы недаром жили, и не будете отговариваться неведением жизни. Вот тогда вы глянете и туда, на улицу, захотите узнать, что делают ваши мужики, захотите кормить, учить, лечить их...

Она слушала задумчиво. Сомнения, тени, воспоминания проходили по лицу.

– Не все мужчины – Беловодовы, – продолжал он, – не побоится друг ваш дать волю сердцу и языку, а услышавши раз голос сердца, пожив в тишине, наедине – где-нибудь в чухонской деревне, вы ужаснетесь вашего света. Париж и Вена побледнеют перед той деревней. Прочь prince Pierre, comte Serge, тетушки, эти портьеры, драпри, с глаз долой портреты: все это мешает только счастью. Вы возненавидите и Пашу с Дашей, и швейцара, все выезды – все вам опротивеет тогда. Положение ваше будет душить вас, вам покажется здесь тесно, скучно без того, кого полюбите, кто научит вас жить. Когда он придет, вы будете неловки, вздрогнете от его голоса, покраснеете, побледнеете, а когда уйдет, сердце у вас вскрикнет и помчится за ним, будет ждать томительно завтра, послезавтра... Вы не будете обедать, не уснете и просидите ночь вот тут в кресле, без сна, без покоя. Но если увидите его завтра, даже почувствуете надежду увидеть, вы будете свежее этого цветка, и будете счастливы, и он счастлив этим блестящим взглядом – не только он, но и чужой, кто вас увидит в этих лучах красоты...

– Что это, видно, папа не будет? – сказала она, оглядываясь вокруг себя. – Это невозможно, что вы говорите! – тихо прибавила потом.

– Почему? – спросил он, впиваясь в нее глазами.

У него воображение было раздражено: он невольно ставил на месте героя себя; он глядел на нее то смело, то стоял мысленно на коленях и млел, лицо тоже млело. Она взглянула на него раза два и потом боялась или не хотела глядеть.

– Почему невозможно? – повторил он.

– Ведь я – канарейка!

– О, тогда эта портьера упадет, и вы выпорхнете из клетки; тогда вы возненавидите и теток, и этих полинявших господ, а на этот портрет (он указал на портрет мужа) взглянете с враждой.

– Ах, cousin!.. – с упреком остановила она.

– Да, кузина, вы будете считать потерянно всякую минуту, прожитую, как вы жили и как живете теперь... Пропадет этот величавый, стройный вид, будете задумываться, забудете одеться в это несгибающееся платье... с досадой бросите массивный браслет, и крестик на груди не будет лежать так правильно и покойно. Потом, когда преодолеете предков, тетушек, перейдете Рубикон – тогда начнется жизнь... мимо вас будут мелькать дни, часы, ночи...

Он сел близко подле нее: она не замечала, погруженная в задумчивость.

– Вы не будете замечать их, – шептал он, – вы будете только наслаждаться, не оторвете вашей мечты от него, не сладите с сердцем, вам все будет чудиться, чего с вами никогда не было.

Он взял ее за руку, она вздрогнула.

– Одна, дома, вы вдруг заплачете от счастья: около вас будет кто-то невидимо ходить, смотреть на вас... И если в эту минуту явится он, вы закричите от радости, вскочите и... и... броситесь к нему...

Оба они вдруг встали.

– И отдадите все... все... – шептал он, держа ее за руку.

– Assez, cousin, assez!⁵⁵ – говорила она в волнении, с нетерпением, почти с досадой отнимая руку.

– И будете еще жалеть, – все шептал он, – что нечего больше отдать, что нет жертвы! Тогда пойдете и на улицу, в темную ночь, одни... если...

– Mon Dieu, mon Dieu!⁵⁶ – говорила она, глядя на дверь, – что вы говорите!.. вы знаете сами, что это невозможно!

– Все возможно, – шептал он, – вы станете на колени, страстно прильнете губами к его руке и будете плакать от наслаждения...

Она села на кресло, откинула голову и вздохнула тяжело.

– Je vous demande une grâce, cousin,⁵⁷ – сказала она.

– Требуйте, приказывайте! – говорил он восторженно.

– Laissez moi!⁵⁸

Он пошел к двери и оглянулся. Она сидит неподвижно: на лице только нетерпение, чтоб он ушел. Едва он вышел, она налила из графина в стакан воды, медленно выпила его и потом велела отложить карету. Она села в кресло и задумалась, не шевелясь.

Через несколько минут послышались шаги, портьера распахнулась. Софья вздрогнула, мельком взглянула в зеркало и встала. Вошел ее отец, с ним какой-то гость, мужчина средних лет, высокий, брюнет, с задумчивым лицом. Физиономия не русская. Отец представил его Софье.

– Граф Милари, ma chère amie, – сказал он, – grand musicien et le plus aimable garçon du monde.⁵⁹ Две недели здесь: ты видела его на бале у княгини? Извини, душа моя, я был у графа: он не пустил в театр.

– Я велела отложить карету, папа; мне тоже не хочется, – отвечала она.

Софья попросила гостя сесть. Они стали говорить о музыке, а Николай Васильевич, пожевав губами, ушел в гостиную.

⁵⁵ Довольно, кузен, довольно! (фр.)

⁵⁶ О Боже, Боже! (фр.)

⁵⁷ Я прошу вас о милости, кузен (фр.).

⁵⁸ Оставьте меня! (фр.)

⁵⁹ моя милая... превосходный музыкант и любезнейший молодой человек (фр.).

XV

Райский вернулся домой в чаду, едва замечая дорогу, улицы, проходящих и проезжающих. Он видел все одно – Софью, как картину в рамке из бархата, кружев, всю в шелку, в брильянтах, но уже не прежнюю покойную и недоступную чувству Софью.

На лице у ней он успел прочесть первые, робкие лучи жизни, мимолетные проблески нетерпения, потом тревоги, страха и, наконец, добился вызвать какое-то волнение, может быть, бессознательную жажду любви.

Он бросил сомнение в нее, вопросы, может быть, сожаление о даром потерянном прошлом, словом, взволновал ее. Ему снилась в перспективе страсть, драма, превращение статуи в женщину.

Пока он гордился про себя и тем крошечным успехом своей пропаганды, что, кажется, предки сошли в ее глазах с высокого пьедестала.

«Еще два-три вечера, – думал он, – еще приподнимет он ей уголок завесы, она взглянет в лучистую даль и вдруг поймет жизнь и счастье. Потом дальше, когда-нибудь, взгляд ее остановится на ком-то в изумлении, потом опустится, взглянет широко опять и онемееет – и она мгновенно преобразится».

– Но кто же будет этот «кто-то»? – спросил он ревниво. – Не тот ли, кто первый вызвал в ней сознание о чувстве? Не он ли вправе бросить ей в сердце и самое чувство?

Он поглядел в зеркало и задумался, подошел к форточке, отворил ее,дохнул свежим воздухом: до него донеслись звуки виолончели.

– Ах, опять этот пилит! – с досадой сказал он, глядя на противоположное окно флигеля. – И опять то же! – прибавил он, захлопывая форточку.

Звуки хотя глухо, но всё доносились до него. Каждое утро и каждый вечер видел он в окно человека, нагнувшегося над инструментом, и слышал повторение, по целым неделям, почти неисполнимых пассажей, по пятидесяти, по сто раз. И месяцы проходили так.

– Осел! – сказал Райский и лег на диван, хотел заснуть, но звуки не давали, как он ни прижимал ухо к подушке, чтоб заглушить их. – Нет, так и режут.

– Право, осел! – повторил он и сам сел за фортепиано и начал брать сильные аккорды, чтоб заглушить виолончель. Потом залился веселою трелью, перебрал мотивы из нескольких опер, чтоб не слышать несносного мычанья, и насилу забылся за импровизацией.

Перед ним была Софья: играя, он видел все ее, уже с пробудившимися страстями, страдающую и любящую – и только дошло до вопроса: «кого?» – звуки у него будто оборвались. Он встал и открыл форточку.

– Все еще играет! – с изумлением повторил он и хотел снова хлопнуть, но вдруг остановился и замер на месте.

Звуки не те: не мычанье, не повторение трудных пассажей слышит он. Сильная рука водила смычком, будто по нервам сердца: звуки послушно плакали и хохотали, обдавали слушателя точно морской волной, бросали в пучину и вдруг выкидывали на высоту и несли в воздушное пространство.

Целые миры отверзались перед ним, понеслись видения, открылись волшебные страны. У Райского широко открылись глаза и уши: он видел только фигуру человека в одном жилете, свеча освещала мокрый лоб, глаз было не видно. Борис пристально смотрел на него, как, бывало, на Васюкова.

«А! что это такое!» – думал он, слушая с дрожью почти ужаса эти широко разливающиеся волны гармонии.

– Что это такое? – повторил он, – откуда он взял эти звуки? Кто их дал ему? Ужели месяцы и годы ослиного терпения и упорства? Рисовать с бюстов, пилить по струнам – годы!

А дает человеческой фигуре, в картине, огонь, жизнь – одна волшебная точка, штрих; страсть в звуки вливает – одна нервная дрожь пальца! У меня есть и точка, и нервная дрожь – и все эти молнии горят здесь, в груди, – говорил он, ударяя себя в грудь. – И я бессилён перебросить их в другую грудь, зажечь огнём своим огонь в крови зрителя, слушателя! Священный огонь не переходит у меня в звуки, не ложится послушно в картину! Зачем не группируются стройно лица поэмы и романа?

И опять слушал он, замирая: не слышать ни смычка, ни струн; инструмента не было, а пела свободно, вдохновенно будто грудь самого артиста.

У Райского навернулись слезы умиления, и он тихо закрыл форточку.

А ведь есть упорство и у него, у Райского! Какие усилия напрягал он, чтоб... сладить с кузиной, сколько ума, игры воображения, труда положил он, чтоб пробудить в ней огонь, жизнь, страсть... Вот куда уходят эти силы!

«Не вноси искусства в жизнь, – шептал ему кто-то, – а жизнь в искусство!.. Береги его, береги силы!»

Он подошел к мольберту; снял зеленую тафту: там был портрет Софьи – глаза ее, плечи ее и спокойствие ее.

– Но теперь она уж не такая! – шептал он, – явились признаки жизни: я их вижу; вот они, перед глазами у меня: как уловить их!..

Он схватил кисть, палитру, помалевал глаза, изменил немного линию губ – и со вздохом положил кисть и отошел. Платье, эти кружева, бархат кое-как набросаны. А пуще всего руки не верны. И темно: краски вечером изменяются.

Он поглядел еще несколько запыленных картин: всё начатые и брошенные эскизы, потом подошел к печке, перебрал несколько рамок, останавливаясь на некоторых и, между прочим, на голове Гектора.

Наконец достал небольшой масляный, будто скорой рукой набросанный и едва подмалеванный портрет молодой белокурой женщины, поставил его на мольберт и, облокотясь локтями на стол, впустив пальцы в волосы, остановил неподвижный, исполненный глубокой грусти взгляд на этой голове.

Долго сидел он в задумчивом сне, потом очнулся, пересел за письменный стол и начал перебирать рукописи, – на некоторых останавливался, качал головой, рвал и бросал в корзину, под стол, другие откладывал в сторону.

Между кипами литературных опытов, стихов и прозы, он нашел одну тетрадь, в заглавии которой стояло: «Наташа».

Там был записан старый эпизод, когда он только что расцветал, сближался с жизнью, любил и его любили. Он записал его когда-то под влиянием чувства, которым жил, не зная тогда еще, зачем, – может быть, с сентиментальной целью посвятить эти листки памяти своей тогдашней подруги или оставить для себя заметку и воспоминание в старости о молодой своей любви, а может быть, у него уже тогда бродила мысль о романе, о котором он говорил Аянову, и мелькал сюжет для трогательной повести из собственной жизни.

Он там говорил о себе в третьем лице, набрасывая легкий очерк, сквозь который едва пробивался образ нежной, любящей женщины. Думая впоследствии о своем романе, он предполагал выработать этот очерк и включить в роман, как эпизод.

«...Он, воротясь домой после обеда в артистическом кругу, – читал Райский вполголоса свою тетрадь, – нашел у себя на столе записку, в которой было сказано: „Навести меня, милый Борис: я умираю!.. Твоя Наташа“.

– Боже мой, Наташа! – закричал он не своим голосом и побежал с лестницы, бросился на улицу и поскакал на извозчике к Знаменью, в переулок, вбежал в дом, в третий этаж. – Две недели не был, две недели – это вечность! Что она?

Он остановился перед дверью, переводя дух и от волнения то брался за ручку колокольчика, то опять оставлял ее. Наконец позвонил и вошел.

Его встретила хозяйка квартиры, пожилая женщина, чиновница, молча, опустив глаза, как будто с укоризной отвечала на поклон, а на вопрос его, сделанный шепотом, с дрожью: «Что она?» – ничего не сказала, а только пропустила его вперед, осторожно затворила за ним дверь и сама ушла.

Он на цыпочках вошел в комнату и оглядел ее, с беспокойством отыскивая, где Наташа.

В комнате был волосяной диван красного дерева, круглый стол перед диваном, на столе стоял рабочий ящик и лежали неконченные женские работы.

В углу теплилась лампада; по стенам стояли волосяные стулья; на окнах горшки с увядшими цветами да две клетки, в которых дремали насупившиеся канарейки.

Он глядел на ширмы и стоял боязливо, боясь идти туда.

– Кто там? – раздался слабый голос из-за ширм. Он вошел.

За ширмами, на постели, среди подушек, лежала, освещаемая темным светом маленького ночника, как восковая, молодая белокурая женщина. Взгляд был горяч, но сух, губы тоже жаркие и сухие. Она хотела повернуться, увидев его, сделала живое движение и схватилась рукой за грудь.

– Это ты, Борис, ты! – с нежной, томной радостью говорила она, протягивая ему обе исхудалые, бледные руки, глядела и не верила глазам своим.

Он бросился к ней и поцеловал обе руки.

– Ты в постели – и до сегодня не дала мне знать! – упрекал он.

Она старалась слабой рукой сжать его руку и не могла, опустила голову опять на подушку.

– Прости, что потревожила и теперь, – старалась она выговорить, – мне хотелось увидеть тебя. Я всего неделю, как слегла: грудь заболела... – Она вздохнула.

Он не слушал ее, с ужасом вглядываясь в ее лицо, недавно еще смеющееся. И что стало теперь с ней!

«Что с тобой!...» – хотел он сказать, не выдержал и, опустив лицо в подушку к ней, вдруг разразился рыданием.

– Что ты, что ты! – говорила она, лаская нежно рукой его голову: она была счастлива этими слезами. – Это ничего, доктор говорит, что пройдет...

Но он рыдал, он понимал, что не пройдет.

– Я думала, ты утетишь меня. Мне так было скучно одной и страшно... – Она вздрогнула и оглянулась около себя. – Книги твои все прочла, вон они, на стуле, – прибавила она. – Когда будешь пересматривать, увидишь там мои заметки карандашом; я подчеркивала все места, где находила сходство... как ты и я... любили... Ох, устала, не могу говорить... – Она остановилась, смочила языком горячие губы. – Дай мне пить, вон там, на столе!

Проглотив несколько капель, она указала ему место на подушке и сделала знак, чтоб он положил свою голову. Она положила ему руку на голову, а он украдкой утирал слезы.

– Тебе скучно здесь, – заговорила она слабо, – прости, что я призвала тебя... Как мне хорошо теперь, если б ты знал! – в мечтательном забытьи говорила она, закрыв глаза и перебирая рукой его волосы. Потом обняла его, поглядела ему в глаза, стараясь улыбнуться. Он молча и нежно отвечал на ее ласки, глотая навернувшиеся слезы.

– Ты посидишь со мной сегодня? – спросила она, глядя ему в глаза.

– Весь вечер, всю ночь; я не отойду от тебя, пока...

Слезы опять подступили, и он едва справился с ними.

– Нет, нет, зачем? Я не хочу, чтоб ты скучал... Ты усни, успокойся, со мной ничего, право, ничего... – Она хотела улыбнуться и не могла.

– Я что-то скажу тебе: ты не рассердишься!..

Он пожал ей влажную руку.

– Я схитрила... – шептала она, приложив свою щеку к его щеке, – мне вот уж третий день легче, а я написала, что умираю... мне хотелось заманить тебя... Прости меня!

Она улыбнулась, а он оцепенел от ужаса: он слышал, что значит это «легче». Но он старался улыбнуться, судорожно сжал ей руки и с боязнью глядел то на нее, то вокруг себя.

Вдруг из света, из толпы веселых приятелей, художников, красавиц он попал как будто в склеп. Он сел подле постели и ушел в свою фантазию, где и раздолье молодой его жизни, и вдруг упавшее на него горе стояли как две противоположные картины. Большая, веселая комната, группа собеседников, здоровых, поющих, говорящих шумно вокруг стола, за роскошным обедом, среди цветов, шипящих бокалов. Между собеседниками веселые лица женщин блестят красотой, наслаждением. Тут артистки музыки, балета, певцы, художники и золотая молодежь, красота, ум, таланты, юмор – вся солнечная сторона жизни! Вдруг он шагнул в ее мрачную тень: эта маленькая, бедная комната и в ней угасающая, подкошенная жизнь.

Там, у царицы пира, свежий, блистающий молодостью лоб и глаза, каскадом падающая на затылок и шею темная коса, высокая грудь и роскошные плечи. Здесь – эти впадшие, едва мерцающие, как искры, глаза, сухие, бесцветные волосы, осунувшиеся кости рук... Обе картины подавляли его ужасающими крайностями, между которыми лежала такая бездна, а между тем они стояли так близко друг к другу. В галерее их не поставили бы рядом: в жизни они сходились – и он смотрел одичалыми глазами на обе.

Его пронимала дрожь ужаса и скорби. Он, против воли, группировал фигуры, давал положение тому, другому, себе добавлял, чего недоставало, исключал, что портило общий вид картины. И в то же время сам ужасался процесса своей беспощадной фантазии, хватался рукой за сердце, чтоб унять боль, согреть леденеющую от ужаса кровь, скрыть муку, которая готова была страшным воплем исторгнуться у него из груди при каждом ее болезненном стоне.

Эта любовь на смертном одре жгла его, как раскаленное железо; каждую ласку принимал он с рыданием, как сорванный с могилы цветок.

Когда умолкала боль и слышались только трудные вздохи Наташи, перед ним тихо развертывалась вся история этого теперь угасающего бытия. Он видел там ее когда-то молоденькой девочкой, с стыдливым, простодушным взглядом, живущей под слабым присмотром бедной, больной матери.

Он узнал Наташу в опасную минуту, когда ее неведению и невинности готовились сети. Матери, под видом участия и старой дружбы, выхлопотал поседевший мнимый друг пенсион, присылал доктора и каждый день приезжал, по вечерам, узнавать о здоровье, отечески горячо целовал дочь...

Между тем мать медленно умирала той же болезнью, от которой угасала теперь немногими годами пережившая ее дочь. Райский понял все и решился спасти дитя.

Спасая искренно и горячо от сетей «благодетеля», открывая глаза и матери и дочери на значение благодеяний – он влюбился сам в Наташу. Наташа влюбилась в него – и оба нашли счастье друг в друге, оба у смертного одра матери получили на него благословение.

У обоих был один простой и честный образ семейного союза. Он уважал ее невинность, она ценила его сердце – оба протягивали руки к брачному венку и – оба... не устояли.

Полгода томилась мать на постели и умерла. Этот гроб, ставши между ими и браком – глубокий траур, вдруг облекший ее молодую жизнь, надломил и ее хрупкий, наследственно-болезненный организм, в котором, еще сильнее скорби и недуга, горела любовь и волновала нетерпением и жаждой счастья.

Доктора положили свой запрет на нетерпеливые желания. «Надо подождать, – говорили им, – три месяца, четыре». Брачный алтарь ждал, а любовь увлекла их вперед.

И он спас ее от старика, спас от бедности, но не спас от себя. Она полюбила его не страстью, а какою-то ничем не возмутимой, ничего не боящейся любовью, без слез, без страданий, без жертв, потому что не понимала, что такое жертва, не понимала, как можно полюбить и опять не полюбить.

Для нее любить – значило дышать, жить, не любить – перестать дышать и жить. На вопросы его: «Любишь ли? Как?» – она, сжав ему крепко шею и стиснув зубы, по-детски отвечала: «Вот так!» А на вопрос: «Перестанешь ли любить?» – говорила задумчиво: «Когда умру, так перестану».

Она любила, ничего не требуя, ничего не желая, приняла друга, как он есть, и никогда не представляла себе, мог ли бы или должен ли бы он быть иным? бывает ли другая любовь или все так любят, как она?

А он мечтал о страсти, о ее бесконечно разнообразных видах, о всех сверкающих молниях, о всем зное сильной, пылкой, ревливой любви, и тогда, когда они вошли в ее лето, в жаркую пору.

Наташа похорошела, пополнела, была весела, но ни разу на лице у ней не блеснул таинственный луч затаенного, сдержанного упоения, никогда – потерянного, безумного взгляда, которым выговаривается пожирающее душу пламя.

А между тем тут все было для счастья: для сердца открывался вечный, теплый приют. Для ума предстояла длинная, нескончаемая работа – развиваться, развивать ее, руководить, воспитывать молодой женский восприимчивый ум. Работа тоже творческая – творить на благодарной почве, творить для себя, создавать живой идеал собственного счастья.

Но фантазия требовала роскоши, тревог. Покой усыплял ее – и жизнь его как будто останавливалась. А она ничего этого не знала, не подозревала, какой змей гнезвился в нем рядом с любовью.

С той минуты, как она полюбила, в глазах и улыбке ее засветился тихий рай: он светился два года и светился еще теперь из ее умирающих глаз. Похолодевшие губы шептали свое неизменное «люблю», рука повторяла привычную ласку.

Он иногда утомлялся, исчезал на месяцы и, возвращаясь, бывал встречаем опять той же улыбкой, тихим светом глаз, шепотом нежной, кроткой любви.

Он был уверен, что встретит это всегда, долго наслаждался этой уверенностью, а потом в ней же нашел зерно скуки и начало разложения счастья.

Никогда – ни упрека, ни слезы, ни взгляда удивления или оскорбления за то, что он прежде был не тот, что завтра будет опять иной, чем сегодня, что она проводит дни оставленная, забытая, в страшном одиночестве.

У ней и в сердце, и в мысли не было упреков и слез, не срывались укоризны с языка. Она не подозревала, что можно сердиться, плакать, ревновать, желать, даже требовать чего-нибудь именем своих прав.

У ней было одно желание и право: любить. Она думала и верила, что так, а не иначе, надо любить и быть любимой и что весь мир так любит и любим.

На отлучки его она смотрела как на неприятное, случайное обстоятельство, как, например, на то, если б он заболел. А возвращался он, – она была кротко счастлива и полагала, что если его не было, то это так надо, это в порядке вещей.

Обида, зло падали в жизни на нее иногда и с других сторон: она бледнела от боли, от изумления, подкашивалась и бессознательно страдала, принимая зло покорно, не зная, что можно отдать обиду, заплатить злом.

Она привязывалась к тому, что нравилось ей, и умирала с привязанностью, все думая, что так надо.

Это был чистый, светлый образ, как Перуджиниевская фигура, простодушно и бессознательно живший и любивший, с любовью пришедший в жизнь и с любовью отходящий от нее, да с кроткой и тихой молитвой.

Жизнь и любовь как будто пропели ей гимн, и она сладко задумалась, слушая его, и только слезы умиления и веры застывали на ее умирающем лице, без укоризны за зло, за боль, за страдания.

Умирала она частью от небрежного воспитания, от небрежного присмотра, от проведенного, в скудности и тесноте, болезненного детства, от попавшей в ее организм наследственной капли яда, развившегося в смертельный недуг, оттого, наконец, что все эти «так надо» хотя не встречали ни воплей, ни раздражения с ее стороны, а всё же ложились на слабую молодую грудь и подтачивали ее.

Она прожила бы до старости, не упрекнув ни жизнь, ни друга, ни его непостоянную любовь, и никого ни в чем, как не упрекает теперь никого и ничто за свою смерть. И ее болезненная, страдальческая жизнь, и преждевременная смерть казались ей – *так надо*.

Она никогда не искала смысла той апатии, скуки и молчания, с которыми друг ее иногда смотрел на нее, не догадывалась об отжившей любви и не поняла бы никогда причин.

А он думал часто, сидя как убитый, в злом молчании, около нее, не слушая ее простодушного лепета, не отвечая на кроткие ласки: «Нет – это не та женщина, которая, как сильная река, ворвется в жизнь, унесет все преграды, разольется по полям. Или, как огонь, осветит путь, вызовет силы, закалит их энергией и бросит трепет, жар, негу и страсть в каждый момент, в каждую мысль... направит жизнь, поможет угадать ее смысл, задачу и совершить ее. Где взять такую львицу? А этот ягненок нежно щиплет траву, обмахивается хвостом и жмется ко мне, как к матке... Нет, это растительная жизнь, не жизнь, а сон...»

Он широкой зевотой отвечал на ее лепет, ласки, брал шляпу и исчезал по неделям, по месяцам или в студию художника, или на те обеды и ужины, где охватывал его чад и шум.

Сидя теперь у одра, он мысленно читал историю Наташи и своей любви, и когда вся история тихо развилась и образ умирающей стал перед ним немым укором, он побледнел.

Он вспомнил свое забвение, небрежность, – других оскорблений быть не могло: сам дьявол упал бы на колени перед этим голубиным, нежным, безответным взглядом.

Он клял себя, что не отвечал целым океаном любви на отданную ему одну жизнь, что не окружил ее оградой нежности отца, брата, мужа, далдохнуть на нее не только ветру, но и смерти.

«Смерть! Боже, дай ей жизнь и счастье и возьми у меня все!» – вопила в нем поздняя, отчаянная мольба. Он мысленно всходил на эшафот, сам клал голову на плаху и кричал:

– Я преступник!.. если не убил, то дал убить ее: я не хотел понять ее, искал ада и молний там, где был только тихий свет лампы и цветы. Что же я такое, Боже мой! Злодей! Ужели я...

Он опять принимал лицом к ее подушке и мысленно молил не умирать, творил обеты счастья до самопожертвования.

«Поздно! Поздно!» – говорило ему отчаяние и ее трудные вздохи.

Он вспомнил, что когда она стала будто бы целью всей его жизни, когда он ткал узор счастья с ней, – он, как змей, убирался в ее цвета, окружал себя, как в картине, этим же тихим светом; увидев в ней искренность и нежность, из которых создано было ее нравственное существо, он был искренен, улыбался ее улыбкой, любовался с ней птичкой, цветком, радовался детски ее новому платью, шел с ней плакать на могилу матери и подруги, потому что плакала она, сажал цветы...

И вспомнил он, что любовался птичкой, сажал цветы и плакал – искренно, как и она. Куда же делись эти слезы, улыбки, наивные радости, и зачем опошлилились они, и зачем она не нужна для него теперь!..

– О чем ты думаешь? – раздался слабый голос у него над ухом. – Дай еще пить... Да не гляди на меня, – продолжала она, напившись, – я стала ни на что не похожа! Дай мне гребенку и чепчик, я надену. А то ты... разлюбишь меня, что я такая... гадкая!..

Она думала, что он еще не разлюбил ее! Он подал ей гребенку, маленький чепчик; она хотела причесаться, но рука с гребенкой упала на колени.

– Не могу, устала! – сказала она и печально задумалась.

А его резали ножом, голова у него горела. Он вскочил и ходил с своей картиной в голове по комнате, бросаясь почти в иступлении во все углы, не помня себя, не зная, что он делает. Он вышел к хозяйке, спросил, ходил ли доктор, которому он поручил ее.

Та сказала, что ходил и привозил с собой других, что она переплатила им вот столько-то. «У меня записано», – прибавила она.

– Что ж те? – спросил он.

– Известно что: смотрели ее, слушали ее грудь, выходили в другую комнату, молча пожимали плечами и, сжав в кулак сунутую ассигнацию, застегивали фрак и проворно исчезали.

Райский, цепenea от ужаса, выслушал этот краткий отчет и опять шел к постели. Оживленный пир с друзьями, артисты, певицы, хмельное веселье – все это пропало вместе со всякой надеждой продлить эту жизнь.

Перед ним было только это угасающее лицо, страдающее без жалобы, с улыбкой любви и покорности; это, не просящее ничего, ни защиты, ни даже немножко сил, существо!

А он стоял тут, полный здоровья и этой силы, которую расточал еще сегодня, где не нужно ее, и бросил эту птичку на долю бурь и непогод!

Зачем не приковал он себя тут, зачем уходил, когда привык к ее красоте, когда оттиск этой когда-то милой, нежной головки стал бледнеть в его фантазии? Зачем, когда стали тесниться другие образы, он не перетерпел, не воздержался, не остался верен ему?

Это был не подвиг, а долг. Без жертв, без усилий и лишений нельзя жить на свете: «Жизнь – не сад, в котором растут только одни цветы», – поздно думал он и вспомнил картину Рубенса «Сад любви», где под деревьями попарно сидят изящные господа и прекрасные госпожи, а около них порхают амурсы.

– Лжец! – обозвал он Рубенса. – Зачем, вперемежку с любовниками, не насажал он в саду нищих в рубище и умирающих больных: это было бы верно!.. А мог ли бы я? – спросил он себя. Что бы было, если б он принудил себя жить с нею и для нее? Сон, апатия и лютейший враг – скука! Явилась в готовой фантазии длинная перспектива этой жизни, картина этого сна, апатии, скуки: он видел там себя, как он был мрачен, жесток, сух и как, может быть, еще скорее свел бы ее в могилу. Он с отчаянием махнул рукой.

– Можно удержаться от бешенства, – оправдывал он себя, – но от апатии не удержишься, скуку не утаишь, хоть подвинь всю свою волю на это! А это убило бы ее: с летами она догадалась бы... Да, с летами, а потом примирилась бы, привыкла, утешилась – и жила! А теперь умирает, и в жизни его вдруг ложится неожиданная и быстрая драма, целая трагедия, глубокий, психологический роман.

– Поди сюда, посиди со мной! – раздался голос Наташи, прервавший его мысли.

Через неделю после того он шел с поникшей головой за гробом Наташи, то читая себе проклятия за то, что разлюбил ее скоро, забывал подолгу и почаству, не берег, то утешаясь тем, что он не властен был в своей любви, что сознательно он никогда не огорчил ее, был с нею нежен, внимателен, что, наконец, не в нем, а в ней не доставало материала, чтоб поддержать неугасимое пламя, что она уснула в своей любви и уже никогда не выходила из тихого сна, не будила и его, что в ней не было признака страсти, этого бича, которым подгоняется жизнь, от которой рождается благотворная сила, производительный труд...

«Нет, нет, – она не то, она – голубь, а не женщина!» – думал он, заливаясь слезами и глядя на тихо качающийся гроб.

Он задумчиво стоял в церкви, смотрел на вибрацию воздуха от теплящихся свеч и на небольшую кучку провожатых: впереди всех стоял какой-то толстый, высокий господин, родственник, и равнодушно нюхал табак. Рядом с ним виднелось расплывшееся и раскрасневшееся от слез лицо тетки, там кучка детей и несколько убогих старух.

У гроба на полу стояла на коленях после всех пришедшая и более всех пораженная смертью Наташи ее подруга: волосы у ней были не причесаны, она дико осматривалась вокруг, потом глядела на лицо умершей и, положив голову на пол, судорожно рыдала...

Он медленно ушел домой и две недели ходил убитый, молчаливый, не заглядывал в студию, не видался с приятелями и бродил по уединенным улицам. Горе укладывалось, слезы иссякли, острая боль затихла, и в голове только оставалась вибрация воздуха от свеч, тихое пение, расплывшееся от слез лицо тетки и безмолвный, судорожный плач подруги...

Здесь кончилась рукопись.

Райский, окончив чтение, сидел несколько времени угрюмый, задумчивый.

– Бледен этот очерк! – сказал он про себя, – так теперь не пишут. Эта наивность достойна эпохи «Бедной Лизы». И портрет ее (он подошел к мольберту) – не портрет, а чуть подмалеванный эскиз.

– Бедная Наташа! – со вздохом отнесся он, наконец, к ее памяти, глядя на эскиз. – Ты и живая была так же бледно окрашена в цвета жизни, как и на полотне моей кистью, и на бумаге пером! Надо переделать и то, и другое! – заключил он.

Потом со вздохом спрятал тетрадь, взял кучку белых листков и начал набрасывать программу нового своего романа.

Эпизод, обратившийся в воспоминание, представлялся ему чужим событием. Он смотрел на него объективно и внес на первый план в своей программе.

Он прописал до света, возвращался к тетрадям не один раз во дню, приходя домой вечером, опять садился к столу и записывал, что снилось ему в перспективе.

Сцены, характеры, портреты родных, знакомых, друзей, женщин переделывались у него в типы, и он исписал целую тетрадь, носил с собой записную книжку, и часто в толпе, на вечере, за обедом вынимал клочок бумаги, карандаш, чертил несколько слов, прятал, вынимал опять и записывал, задумываясь, забываясь, останавливаясь на полуслове, удаляясь внезапно из толпы в уединение.

Между тем жизнь будила и отрывала его от творческих снов и звала, от художественных наслаждений и мук, к живым наслаждениям и реальным горестям, среди которых самую лютою была для него скука. Он бросался от ощущения к ощущению, ловил явления, берег и задерживал почти силою впечатления, требуя пищи не одному воображению, но все чего-то ища, желая, пробуя на чем-то остановиться...

Теперь он возложил какие-то, еще неясные ему самому, надежды на кузину Беловодову, наслаждаясь сближением с ней. Ему пока ничего не хотелось больше, как видеть ее чаще, говорить, пробуждать в ней жизнь, если можно – страсть.

Но она была неприступна. Он стал уставать, начала пробиваться скука...

XVI

Прошел май. Надо было уехать куда-нибудь, спастись от полярного петербургского лета. Но куда? Райскому было все равно. Он делал разные проекты, не останавливаясь ни на одном: хотел съездить в Финляндию, но отложил и решил поселиться в уединении на Парголовских озерах, писать роман. Отложил и это и собрался не шутя с Пахотиными в рязанское имение. Но они изменили намерение и остались в городе.

Общая летняя эмиграция увлекла было за границу и его, как вдруг дело решилось неожиданно иначе.

Однажды, воротясь домой, он нашел у себя два письма, одно от Татьяны Марковны Бережковой, другое от университетского товарища своего, учителя гимназии на родине его, Леонтия Козлова.

Сначала бабушка писывала к нему часто, присылала счета: он на письма отвечал коротко, с любовью и лаской к горячо любимой старушке, долго заменявшей ему мать, а счета рвал и бросал под стол.

Потом она стала писать реже, жалуясь на старость, слепоту и на заботы по воспитанию внучек. Как он обрадовался, увидя ее почерк, крупный, четкий, решительный!

«...Не грех ли тебе, Борис Павлович, – писала она между прочим, – забывать меня, старуху? У тебя ведь только и родни, что я. Видно, нынче, в новые времена, старухи стали лишние на свете: так рассуждает молодость. А мне и умереть нельзя: у меня на руках две внучки, давно невесты. Пока не пристрою их, буду молить Бога продлить мне веку, а там – его святая воля!»

Я не сетую на тебя, что забываешь меня: но если – сохрани Божье – меня не станет, девочки мои, твои сестры, хоть и не родные, останутся одни. Ты их ближний родственник и покровитель. Подумай также и об имении: я становлюсь стара и приказчицей твоей долго не буду: на кого ты покинешь свое добро? Растащат все, и не останется ничего. Ужели береженое добро прахом пойдет? У меня сердце замирает, как подумаешь, что твое фамильное серебро, бронза, картины, бриллианты и кружева, фарфор, хрусталь – все разойдется по рукам челяди, перейдет к жидам, ростовщикам, сплывет по Волге, на ярмарку, и пропадет ни за что! Пока бабушка жива, будь покоен, ни нитки не пропадет, а после понадеяться не на кого. Две внучки – что они? Вера добрая и умная, да дикая нелюдимка, не входит ни во что. Марфенька будет примерная хозяйка, да молода; нужды нет, что замуж давно пора, а понятия у ней детские – и слава Богу! Успеет созреть, как опыт придет, а я ее берегу, и она это ценит и из воли бабушки не выходит, за что наградит ее Господь. По дому она мне помощница, а до имения я ее не допускаю: не девичье дело! У меня теперь в дворне есть серьезный мужик, Савельем зовут: сама я становлюсь слаба, он по деревне, а Яков да Василиса по дому у меня все нужные дела делают.

Не откладывай же и порадууй бабушку приездом: она тебе близка – не по родству только, а и по сердцу: ты, будучи молод, это чувствовал, – не знаю, каков стал в зрелых летах, а был добрым внуком. Приезжай хоть на сестер посмотреть; а может быть, тебе выпадет и счастье... Хотела смолчать до приезда, да по бабьей привычке не утерплю. К нам из Москвы переселился Мамыкин, откупщик: у него дочь невеста, одна, больше детей нет. Вот если б Бог благословил меня дожидаться такой радости: женить

тебя и сдать имение с рук на руки, тогда я покойно закрыла бы глаза. Женись, Борюшка, ты уж давно в летах, тогда и девочки мои не останутся после меня бездомными сиротами. Ты будешь им братом, защитником, а жена твоя доброй сестрой. При тебе, пока ты холост, им жить нельзя – женись, угоди бабушке, и Бог не оставит тебя!

Буду ждать ответа: напиши наперед, я велю тебе очистить и убрать три комнаты внизу, а Марфеньку запрячу в светелку: ты хозяин!

Тит Никоныч тебе кланяется: он постарел, но еще молодец. Улыбка такая же, и все так же умно говорит и приятно кланяется: молодых франтов за пояс заткнет. Привези, пожалуйста, друг мой, замшевую фуфайку и панталоны: говорят, нынче от ревматизмов носят. Я бы ему сюрприз сделала.

Посылаю счета за последние два года. Приими мое благословение и т. д.

Татьяна Бережкова».

– Бабушка! – с радостью воскликнул Райский. – Боже мой! она зовет меня: еду, еду! Ведь там тишина, здоровый воздух, здоровая пища, ласки доброй, нежной, умной женщины; и еще две сестры, два новых, неизвестных мне и в то же время близких лица... «барышни в провинции! Немного страшно: может быть, уроды!» – успел он подумать, поморщась... – Однако еду: это судьба посылает меня... А если там скука?

Он испугался и потом опять успокоился.

– Сейчас же еду прочь, при первой зевоте! – утешился он. – Еду, еду, там и Леонтий, Леонтий! – произнес Райский и рассмеялся, вспомнив этого Леонтия. Что он пишет?

«Вчера я нечаянно, и сам не знаю как, забрел в твои местности, – писал Леонтий, – должно быть, по рассеянности (за мной, ты знаешь, есть этот грех) попал не в тот переулок, спустился под гору, и когда поднялся, то узнал, что очутился в саду твоей бабушки, и хотел идти назад. Но Татьяна Марковна увидела меня из окна и, приняв сначала в сумерки за вора, спустила было собак и людей, а узнавши, что это я, зазвала к себе, обласкала, накормила до отвала ужином, хотела даже спать укладывать, а пуще всего разбранила, что редко бываю, и велела непременно написать к тебе, уговаривать приехать сюда. Имение, говорит она, поверить, и если поселишься здесь, то принять его из рук в руки – и жениться.

Признаться, любезный мой друг, Борис Павлович, я и сам хотел писать, да духу не хватило, а почему – скажу ниже. Имение – пустой предлог: бабушке хочется повидаться с тобой, и она не знает, чем заманить. Лучше ее не управляй. Но это в сторону: я затрудняюсь, не знаю, как коснуться главного предмета, который требует твоего немедленного прибытия, потом строжайшего суда и кары виновных. Я говорю о твоей библиотеке.

Послушай – ты любишь меня, я знаю. В школе и в университете ты лучше всех был со мною: ты меня ободрял, бывало, читывал со мною вместе, любил меня и помогал иногда, платил хозяйке... белье тоже... (Райский быстро пропустил эту строку), не дразнил, не играл «штук» со мной, не бил – или бил самую малость: оттащил за волосы всего каких-нибудь два раза, тогда как другие... Но Бог с ними, с повесами! Они тоже не со зла, а так, от праздности и вертопрашества! Итак, именем этой дружбы, прошу тебя, не сердись... или нет, бей, оттащай

еще третий раз, но выслушай. Помнишь старые готские издания классиков (да как не помнить!) в драгоценных переплетах? Ты, бывало, сам любовался на них. Помнишь старого Шекспира, текст пополам с комментариями? Помнишь... французских энциклопедистов в пергаменте, первоначальные издания? Помнишь... (конечно, помнишь – лучше бы ты забыл) вот каталог, мной составленный: против этих изданий я поставил, как на могилах, черные кресты! Слушай и бей меня: творения св. отцов целы, весь богословский отдел остался неприкосновенным; Платон, Фукидид – и другие историки и поэты тоже уцелели. А Спиноза, Макиавелли и еще увражей полсотни из прочих отделов перепорчены... конечно, по моей слабости, трусости и проклятой доверчивости.

Кто же, спросишь ты, этот Омар? – Марк Волохов зовут его: для него нет ничего святого в мире. Дай ему хоть эльзевира, он и оттуда выдерет листы. У него, как я с ужасом узнал, к сожалению поздно, есть скверная привычка: когда он читает книгу, то из прочитанного вырывает листик и закуривает сигару или сделает из него трубочку и чистит ею ногти или уши. Я точно сквозь сон замечал, что книги возвращаются от него как будто тоньше, нежели были прежде, но долго не догадывался, отчего, пока он не сделал это, сидя у меня. Как путный, взял Аристофана – где греческий текст напечатан с французским переводом – да тут же, при мне, вдруг сзади и вырвал страницу – я даже мигнуть не успел. Этот Волохов – чудо нашего города. Его здесь никто не любит и все боятся. Что касается до меня, то я не могу не любить его, да и не бояться не могу. Он то фуражку дорогой снимет с меня и наслаждается, если я не замечу, то ночью застучит в окна. Зато иногда вдруг принесет бутылку отличного вина или с огорода притацит (он у огородника на квартире живет) целый воз овощей. Он прислан сюда на житье, под присмотр полиции, и с тех пор город – нельзя сказать, чтоб был в безопасности.

Ради Бога, не передай ему этой моей рекомендации о нем. Он непременно сделает штуку и со мной, и с тобой, пожалуй. Я по поводу попорченных книг потребовал было объяснений, но он мне такое лицо сделал, что я не решился продолжать. Он говорит, что был в одно время с нами в университете, только не по одному факультету. Кажется, врет.

Здесь известно, что он служил в Петербурге в полку, и тоже не ужился, переведен был куда-то внутрь России, вышел в отставку, жил в Москве, попал в какую-то историю – и вот теперь прислан сюда, как я сказал, под присмотр полиции. С ней он в вечной вражде. Нил Андреич, Татьяна Марковна слышать о нем не могут. Но довольно о нем! Приезжай, сам увидишь, каков он. Теперь я сбыл тяжесть признанием, и у меня легче на душе. После этого не так страшно встретить тебя.

Приезжай, Борис, друг мой, повидаться с бабушкой: если б ты видел, как она любит тебя, как бережет твоё имя, не так, как я библиотеку! Какие у тебя красавицы сестры, Вера и Марфа Васильевны! Как тебя все это ждёт, какой у тебя сад, какие виды на Волгу!.. Если б ты все это знал, ты бы не мешкал ни минуты и приехал: приехал бы принять от Татьяны Марковны имя, а от меня библиотеку, – приехал бы наказать и обнять виновного, но любящего тебя товарища и друга, Леонтия Козлова.

Жена моя тебе кланяется и велит сказать, что она любит тебя по-прежнему, а когда приедешь, полюбит еще больше».

Райский почти со слезами читал это длинное послание и вспоминал чудака Леонтья, его библиоманию, и смеялся его тревогам насчет библиотеки. «Подарю ее ему», – подумал он.

«Леонтий, бабушка! – мечтал он, – красавицы троюродные сестры, Верочка и Марфенька! Волга с побережьем, дремлющая, блаженная тишь, где не живут, а растут люди и тихо вянут, где ни бурных страстей с тонкими, ядовитыми наслаждениями, ни мучительных вопросов, никакого движения мысли, воли – там я сосредоточусь, разберу материалы и напишу роман. Теперь только закончу как-нибудь портрет Софьи, распрощаюсь с ней – и dahin, dahin!⁶⁰»

⁶⁰ туда, туда! (нем.)

XVII

Райский с раннего утра сидит за портретом Софьи, и не первое утро сидит он так. Он измучен этой работой. Посмотрит на портрет и вдруг с досадой набросит на него занавеску и пойдет шагать по комнате, остановится у окна, посвистит, побарабанит пальцами по стеклам, иногда уйдет со двора и бродит угрюмый, недовольный.

Наутро опять та же история, то же недовольство и озлобление. А иногда сидит, сидит и вдруг схватит палитру и живо примется подмазывать кое-где, подтушевывать, остановится, посмотрит и задумается. Потом покачает головой отрицательно, вздохнет и бросит палитру.

А портрет похож как две капли воды. Софья такая, какую все видят и знают ее: невозмутимая, сияющая. Та же гармония в чертах; ее возвышенный белый лоб, открытый, невинный, как у девушки, взгляд, гордая шея и спящая сном покоя высокая, пышная грудь.

Она – вся она, а он недоволен, терзается художническими болями! Он вызвал жизнь в подлиннике, внес огонь во тьму, у ней явились волнения, признаки новой жизни, а в портрете этого нет!

«Что это Кирилов нейдет? а обещал. Может быть, он навел бы на мысль, что надо сделать, чтоб из богини вышла женщина», – подумал он.

И опять задумался, с палитрою на пальце, с поникшей головой, с мучительной жаждой овладеть тайной искусства, создать на полотне ту Софью, какая снится ему теперь.

Он вспомнил ее волнение, умоляющий голос оставить ее, уйти; как она хотела призвать на помощь гордость и не могла; как хотела отнять руку и не отняла из его руки, как не смогла одолеть себя... Как она была тогда не похожа на этот портрет!

Он видел, что заронил в нее сомнения, что эти сомнения – гамлетовские. Он читал их у ней в сердце: «В самом ли деле я живу так, как нужно? Не жертвую ли я чем-нибудь живым, человеческим, этой мертвой гордости моего рода и круга, этим приличиям? Ведь надо сознаться, что мне иногда бывает скучно с тетками, с папа и с Catherine... Один только cousin Райский...»

У Райского сердце забилося, когда он довел мечту Софьи до себя.

Он уже не видит портрета, а видит что-то другое. Глаза, как у лунатика, широко открыты, не мигнут; они глядят куда-то и видят живую Софью, как она одна дома мечтает о нем, погруженная в задумчивость, не замечает, где сидит, или идет без цели по комнате, оставаясь, будто внезапно пораженная каким-то новым лучом мысли, подходит к окну, открывает портьеру и погружает любопытный взгляд в улицу, в живой поток голов и лиц, зорко следит за общественным круговоротом, не дичится этого шума, не гнушается грубой толпы, как будто и она стала ее частью, будто понимает, куда так торопливо бежит какой-то господин, с боязнью опоздать; она уже, кажется, знает, что это чиновник, продающий за триста – четыреста рублей в год две трети жизни, кровь, мозг, нервы.

Ей жаль мужика, который едва тащит мешок на спине. Она догадывается, что вон эта женщина торопится с узлом заложить последний салон, чтоб заплатить за квартиру и т. д. Всякого и всякую провожает задумчиво-заботливый взгляд Софьи.

Она долго глядит на эту жизнь, и, кажется, понимает ее, и нехотя отходит от окна, забыв опустить занавес. Она берет книгу, разворачивает страницу и опять погружается в мысль о том, как живут другие.

Красота ее осмысленна, глаза не глядят беззаботно и светло, а думают. В них тревога за этих «других», бегающих по улице, скорбящих, нуждающихся, трудящихся и вопиющих.

Она вдруг почувствовала, что она не жила, а росла и прозябала. Ее мучит жажда этой жизни, ее живых симпатий и скорбей, труда, но прежде симпатий.

Книга выпадает из рук на пол. Софья не заботится поднять ее; она рассеянно берет цветок из вазы, не замечая, что прочие цветы раскинулись прихотливо и некоторые выпали.

Она нюхает цветок и, погруженная в себя, рассеянно ошипывает листья губами и тихо идет, не сознавая почти, что делает, к роялю, садится боком, небрежно, на табурет и одной рукой берет задумчивые аккорды и все думает, думает...

Потом тихо, чуть-чуть, как дух, произнесла чье-то имя и вздрогнула, робко оглянулась и закрыла лицо руками и так осталась.

В комнате никого, только в незакрытое занавесом окно ворвались лучи солнца и вольно гуляют по зеркалам, дробятся на граненом хрустале. Раскрытая книга валяется на полу, у ног ее ошипанные листья цветка...

Он схватил кисть и жадными, широкими глазами глядел на ту Софью, какую видел в эту минуту в голове, и долго, с улыбкой мешал краски на палитре, несколько раз готовился дотронуться до полотна и в нерешительности останавливался, наконец провел кистью по глазам, потушевал, открыл немного веки. Взгляд у ней стал шире, но был все еще покоен.

Он тихо, почти машинально, опять коснулся глаз: они стали более жизненны, говорящи, но еще холодны. Он долго водил кистью около глаз, опять задумчиво мешал краски и провел в глазу какую-то черту, поставил нечаянно точку, как учитель некогда в школе поставил на его безжизненном рисунке, потом сделал что-то, чего и сам объяснить не мог, в другом глазу... И вдруг сам замер от искры, какая блеснула ему из них.

Он отошел, посмотрел и обомлел: глаза бросили сноп лучей прямо на него, но выражение все было строго.

Он бессознательно, почти случайно, чуть-чуть изменил линию губ, провел легкий штрих по верхней губе, смягчил какую-то тень, и опять отошел, посмотрел:

– Она, она! – говорил он, едва дыша, – нынешняя, настоящая Софья!

Он услышал сзади себя шаги и с живостью обернулся: пришел Аянов.

– Иван Иванович! – торжественно сказал Райский, – как я рад, что ты пришел! Смотри – она, она? Говори же?

– Постой, дай посмотреть.

Иван Иванович долго смотрел. Райский ждал с нетерпением.

– Кто это? – флегматически спросил Аянов.

Райский остолбенел.

– Ты не узнал Софью? – спросил он, едва приходя в себя от изумления.

– Как, Софья Николаевна? Может ли быть? – говорил Аянов, глядя во все широкие глаза на портрет. – Ведь у тебя был другой; тот, кажется, лучше: где он?

Райский с досадой, почти с презрением, махнул рукой.

– Все тот же! – заметил он, – я только переделал. Как ты не видишь, – напустился он на Аянова, – что тот был без жизни, без огня, сонный, вялый, а этот!..

– Воля твоя, тот был больше похож! – упрямо возражал Аянов, – а этот... она тут как будто пьяна.

– Сам ты пьян! Поди прочь!

– Я ведь не знаю толку, – равнодушно отозвался Аянов.

Райский, не отвечая ему, сердито подмалевывал волосы, бархат на портрете.

Чрез четверть часа пришел Кирилов. Это был маленький, сухощавый человечек, весь спрятавшийся в бакенбарды, усы и бороду. Тела почти совсем было не видно, только впалые глаза неестественно блестели да нос вдруг резким горбом выходил из чащи, а концом опять упирался в волосы, за которыми не видать было ни щек, ни подбородка, ни губ. Шея крылась тоже под бородой, а все остальное туловище, точно в мешок, было завернуто в широкое, складками висевшее пальто, из-под которого выглядывали полы другого пальто или сюртука,

покрытые пятнами масляных красок. На ногах была какая-то мягко шаркавшая при походке обувь, шляпа истертая, с лоском, с покривившимся боком.

Глядя на эти задумчивые, сосредоточенные и горячие взгляды, на это, как будто уснувшее, под непроницаемым покровом волос, суровое, неподвижное лицо, особенно когда он, с палитрой пред мольбертом, в своей темной артистической келье, вонзит дикий и острый, как гвоздь, взгляд в лик изображаемого им святого, не подумаешь, что это вольный, как птица, художник мира, ищущий светлых сторон жизни, а примешь его самого за мученика, за монаха искусства, возненавидевшего радости и понявшего только скорби. Таков он, кажется, и был.

Он молча, медленно и глубоко погрузился в портрет. Райский с беспокойством следил за выражением его лица. Кирилов в первое мгновение с изумлением остановил глаза на лице портрета и долго покоил, казалось, одобрительный взгляд на глазах; морщины у него разгладились. Он как будто видел приятный сон.

Потом вдруг точно проснулся; не радостное, а печальное изумление медленно разлилось по лицу, лоб наморщился. Он отвернулся, положил шляпу на стол, достал папироску и стал закуривать.

– Что же вы? – спросил Райский.

– За этим-то вы меня звали? – спросил Кирилов.

– А что?

– Прощайте: я пойду домой...

– Постойте, скажите что-нибудь.

– Что говорить: пустое!

– Ну, да, у вас чуть из облаков спустишься – так пустое! – возразил обиженный Райский. – Ах, вы, мертвецы! Вы прежде во мне признавали дарование, Семен Семеныч...

– Что вам повторять? я уж говорил! – Он вздохнул. – Если будете этим путем идти, тратить себя на модные вывески...

– Модные вывески! Знаете ли вы, кто это?

– Кто? – повторил Кирилов, бегло взглянув на портрет. – Какая-нибудь актриса...

– Что вы, точно оба с ума сошли! Тот видит пьяную женщину, этот актрису! Что с вами толковать!

Райский стал закрывать портрет.

– Повезу его к ней: сам оригинал оценит лучше. Семен Семеныч! от вас я надеялся хоть приветливого слова: вы, бывало, во всем моем труде находили что-нибудь, хоть искру жизни...

– И здесь искра есть! – сказал Кирилов, указывая на глаза, на губы, на высокий белый лоб. – Это превосходно, это... Я не знаю подлинника, а вижу, что здесь есть правда. Это стоит высокой картины и высокого сюжета. А вы дали эти глаза, эту страсть, теплоту какой-нибудь вертушке, кукле, кокетке!

– Нет, Семен Семеныч, выше этого сюжета не может выбрать живописец. Это не вертушка, не кокетка: она достойна была бы вашей кисти: это идеал строгой чистоты, гордости; это богиня, хоть олимпийская... но она в вашем роде, то есть – не от мира сего!

– Это бы лицо да с молитвенным, напряженным взглядом, без этого страстного вождения!.. Послушайте, Борис Павлыч, переделайте портрет в картину; бросьте ваш свет, глупости, волокитства... завесьте окна да закупорьтесь месяца на три, на четыре...

– Зачем?

– Сделайте молящуюся фигуру! – сморщившись, говорил Кирилов, так что и нос ушел у него в бороду, и все лицо казалось щеткой. – Долой этот бархат, шелк! поставьте ее на колени, просто на камне, набросьте ей на плечи грубую мантию, сложите руки на груди...

Вот здесь, здесь, – он пальцем чертил около щек, – меньше свету, долой это мясо, смягчите глаза, накройте немного веки... и тогда сами станете на колени и будете молиться...

– Нет, Семен Семеныч, я не хочу в монастырь; я хочу жизни, света и радости. Я без людей никуда, ни шагу; я поклоняюсь красоте, люблю ее, – он нежно взглянул на портрет, – телом и душой и, признаюсь... – он комически вздохнул, – больше телом...

Кирилов махнул рукой и начал ходить по комнате.

– В вас погибает талант; вы не выбьетесь, не выйдете на широкую дорогу. У вас недостает упорства, есть страстность, да страсти, терпенья нет! Вот и тут, смотрите, руки только что намечены, и неверно, плечи несоразмерны, а вы уж завертываете, бежите показывать, хвастаться...

– Не в мазанье дело, Семен Семеныч! – возразил Райский. – Сами же вы сказали, что в глазах, в лице есть правда; и я чувствую, что поймал тайну. Что ж за дело до волос, до рук!..

– Полноте, полноте лукавить! – перебил Кирилов, – не умеете делать рук, а поучиться – терпенья нет! Ведь если вытянуть эту руку, она будет короче другой; уродец, в сущности, ваша красавица! Вы все шутите, а ни жизнью, ни искусством шутить нельзя! То и другое строго: оттого немного на свете и людей и художников...

Он вздохнул, и лицо глубже ушло в волосы.

– Что ж, по-вашему, спрятаться от жизни, от людей, нахмуриться, не улыбнуться никогда и...

– Да, не погневайтесь! – перебил Кирилов. – Если хотите в искусстве чего-нибудь прочнее сладеньких улыбок да пухлых плеч или почище задних дворов и пьяного мужичья, так бросьте красавиц и пирушки, а будьте трезвы, работайте до тумана, до обморока в голове; надо падать и вставать, умирать с отчаяния и опять понемногу оживать, вскакивать ночью...

– Я делаю это... почти... – сказал Райский, – вскакиваю с постели, иногда плачу, дохожу до безумия...

– Все вы сумасшедшие, как погляжу! – равнодушно заметил Аянов.

– Да, вскакиваете, чтоб мазнуть вашу вот эту «правду». – Он указал на открытое плечо Софьи. – Нет, вы встаньте ночью, да эту же фигуру начертите раз десять, пока будет верно. Вот вам задача на две недели: я приду и посмотрю. А теперь прощайте.

– Пойдите, учитель, пойдите! – останавливал Райский.

– Пустите! Нет у вас уважения к искусству, – говорил Кирилов, – нет уважения к самому себе. Общество художников – это орден братства, все равно что масонский орден: он рассеян по всему миру, и все идут к одной цели. Художники сродни «каменщикам».⁶¹ Вспомните Хирама и его тайну. Да, вот что! Нельзя наслаждаться жизнью, шалить, ездить в гости, танцевать и между прочим сочинять, рисовать, чертить и ваять. Нет, – горячо и почти грубо напал он на Райского, – бросьте эти конфекты и подите в монахи, как вы сами удачно выразились, и отдайте искусству все, молитесь и поститесь, будьте мудры и, вместе, просты, как змеи и голуби, и что бы ни делалось около вас, куда бы ни увлекала жизнь, в какую яму ни падали, помните и исповедуйте одно учение, чувствуйте одно чувство, испытывайте одну страсть – к искусству! Пусть вас клянут, презирают во имя его – идите: тогда только призвание и служение совершатся, и тогда будет «многа ваша мзда», то есть бессмертие. А вам недостает мужества, силы нет, и недостает еще бедности. Отдайте ваше имение нищим и идите вслед за спасительным светом творчества. Где вам! вы – барин, вы родились не в яслях искусства, а в шелку, в бархате. А искусство не любит бар... оно тоже избирает «худородных»... Закройте эту бесстыдницу или переделайте ее в блудницу у ног Христа. Прощайте. Через две недели зайду посмотреть.

⁶¹ То есть масонам (от фр. *maçon*). Организационные формы масонов были заимствованы у средневековых цеховых объединений каменщиков.

Он бросил папироску в песочницу, схватил шляпу и исчез прежде, нежели Райский успел остановить его.

– Каков! – сказал Аянов. – Чудак! Он, в самом деле, не в монахи ли собирается? Шляпа продавлена, весь в масляных пятнах, нищ, ободран. Суший мученик! Не пьет ли он?

– Кроме воды, ничего.

– Ну, так удавится или с ума сойдет.

Райский глубоко вздохнул.

– Да, – сказал он, – это один из последних могикан: истинный, цельный, но ненужный более художник. Искусство сходит с этих высоких ступеней в людскую толпу, то есть в жизнь. Так и надо! Что он проповедует: это изувер!

Однако, продолжая сравнение Кирилова, он мысленно сравнил себя с тем юношей, которому неудобно было войти в царствие небесное. Он задумчиво ходил взад и вперед по комнате.

Уныние поглотило его: у него на сердце стояли слезы. Он в эту минуту непритворно готов был бросить все, уйти в пустыню, надеть изношенное платье, есть одно блюдо, как Кирилов, завеситься от жизни, как Софья, и мазать, мазать до упаду, переделать Софью в блудницу.

Он даже быстро схватил новый натянутый холст, поставил на мольберт и начал мелом крупно чертить молящуюся фигуру. Он вытянул у ней руку и заодно, с яростью, выделял пальцы; сотрет, опять начертит, опять сотрет – все не выходит!

Его стало грызть нетерпение, которое, при первом неудачном чертеже, перешло в озлобление. Он стер, опять начал чертить медленно, проводя густые, яркие черты, как будто хотел продавить холст. Уже то отчаяние, о котором говорил Кирилов, начало сменять озлобление.

Он положил мел, отер пальцы о волосы и подошел к портрету Софьи.

«Переделать портрет, – думал он. – Прав ли Кирилов? Вся цель моя, задача, идея – красота! Я охвачен ею и хочу воплотить этот, овладевший мною, сияющий образ: если я поймал эту „правду“ красоты – чего еще? Нет, Кирилов ищет красоту в небе, он аскет: я – на земле... Покажу портрет Софье: что она скажет? А потом уже переделаю... только не в блудницу!»

Он засмеялся, подумав, что сказала бы Софья, если б узнала эту мысль Кирилова? Он мало-помалу успокоился, любуясь «правдой» на портрете, и возвратился к прежним, вольным мечтам, вольному искусству и вольному труду. Тщательно оберегая портрет, он повез его к Софье.

XVIII

Райский верил и не верил, что увидит ее и как и что будет говорить.

«Как тут закипает! – думал он, трогая себя за грудь. – О! быть буре, и дай Бог бурю! Сегодня решительный день, сегодня тайна должна выйти наружу, и я узнаю... любит ли она или нет? Если да, жизнь моя... *наша* должна измениться, я не еду... или, нет, *мы* едем туда, к бабушке, в уголок, оба...»

Он развернул портрет, поставил его в гостиной на кресло и тихо пошел по анфиладе к комнатам Софьи. Ему сказали внизу, что она была одна: тетки уехали к обеду.

Он, держась за сердце, как будто унимая, чтоб оно не билось, шел на цыпочках. Ему все снились разбросанные цветы, поднятый занавес, дерзкие лучи, играющие на хрустале. Он тихо подкрался и увидел Софью.

Она сидит, опершись локтями на стол, положив лицо в ладони, и мечтает, дремлет или... плачет. Она в неглиже, не затянута в латы негнувшегося платья, без кружев, без браслет, даже не причесана; волосы небрежно, кучей лежат в сетке; блуза стелется по плечам и падает широкими складками у ног. На ковре лежат две атласные туфли: ноги просто в чулках покоятся на бархатной скамеечке.

Он никогда не видал ее такою. Она не замечает его, а он боитсядохнуть.

– Кузина, Sophie! – назвал он ее чуть-чуть слышно.

Она вздрогнула, немного отшатнулась от стола и с удивлением глядела на Райского. У нее в глазах стояли вопросы: как он? откуда взялся? зачем тут?

– Sophie! – повторил он.

Она встала и выпрямилась во весь рост.

– Что с вами, cousin! – спросила она коротко.

– Виноват, кузина, – уже без восторга сказал он, – я вас застал нечаянно... в таком поэтическом беспорядке.

Она оглянулась около себя и вдруг будто спохватилась и позвонила.

– Pardon, cousin, я оденусь! – сухо сказала она и ушла с девушкой в спальню.

Он слышал, что она сделала выговор Паше, зачем ей не доложили о приезде Райского.

«Что же это такое? – думал Райский, глядя на привезенный им портрет, – она опять не похожа, она все такая же!.. Да нет, она не обманет меня: это спокойствие и холод, которым она сейчас вооружилась передо мной, не прежний холод – о нет! это натяжка, принуждение. Там что-то прячется, под этим льдом, – посмотрим!»

Наконец она вышла, причесанная, одетая, в шумящем платье. Она, не глядя на него, стала у зеркала и надевала браслет.

– Я привез ваш портрет, кузина.

– Где? Покажите, – сказала она и пошла за ним в гостиную.

– Вы польстили мне, cousin: я не такая, – говорила она, вглядываясь в портрет.

– Ах, нет, я далек от истины! – сказал он с непритворным унынием, видя перед собой подлинник. – Красота, какая это сила! Ах, если б мне этакую!

– Что ж бы вы сделали?

– Что бы я сделал? – повторил он, глядя на нее пристально и лукаво. – Сделал бы кого-нибудь очень счастливым...

– И наделали бы тысячу несчастных – да? Стали бы пробовать свою силу над всеми, и не было бы пощады никому...

– А! – поймал ее Райский, – не из сострадания ли вы так неприступны!.. Вы боитесь бросить лишний взгляд, зная, что это никому не пройдет даром. Новая изящная черта! Само-

уверенность вам к лицу. Эта гордость лучше родовой спеси: красота – это сила, и гордость тут имеет смысл.

Он обрадовался, что открыл, как казалось ему, почему она так упорно кроется от него, почему так вдруг изменила мечтательную позу и ушла опять в свои окопы.

– Не будьте, однако, слишком сострадательны: кто откажется от страданий, чтоб подойти к вам, говорить с вами? Кто не поползет на коленях вслед за вами на край света, не только для торжества, для счастья и победы – просто для одной слабой надежды на победу...

– Полноте, cousin, вы опять за свое! – сказала она, но не совсем равнодушным тоном. Она как будто сомневалась, так ли она сильна, так ли все поползли бы за ней, как этот восторженный, горячий, сумасбродный артист?

И этот тонкий оттенок сомнения не ускользнул от Райского. Он прозревал в ее взгляды, слова, ловил, иногда бессознательно, все лучи и тени, мелькавшие в ней, не только проникал смыслом, но как будто чуял нервами, что произошло, даже что должно было произойти в ней.

– Вы сами видите это, – продолжал он, – что за один ласковый взгляд, без особенного значения, за одно слово, без обещаний награды, все бегут, суетятся, ловят ваше внимание.

– Будто бы?

– А вы не заметили? Полноте!

– Право, нет.

– Право, заметили и втихомолку торжествуете, да еще издеваетесь надо мной, заставляя высказывать вас же самих. Вы знаете, что я говорю правду, и в словах моих видите свой образ и любуетесь им.

– Пока еще я видела его в портрете, и то преувеличенно, а на словах вы только бранитесь.

– Нет, портрет – это слабая, бледная копия; верен только один луч ваших глаз, ваша улыбка, и то не всегда: вы редко так смотрите и улыбаетесь, как будто боитесь. Но иногда это мелькнет; однажды мелькнуло, и я поймал, и только намекнул на правду, и уж смотрите, что вышло. Ах, как вы были хороши тогда!

– Когда это?

– Вот тут, когда я говорил вам... еще, помните, ваш папа привел этого Милари...

Она молчала.

– Милари? – повторил он.

– Помню, – сухо сказала она.

– Что, он часто бывает у вас? – спросил Райский, заметив и эту сухость тона.

– Да... иногда. Он очень хорошо поет, – прибавила она и села на диван, спиной к свету.

– Когда он будет у вас, я бы заехал... дайте мне знать.

– Здесь свежо! – заметила она, делая движение плечами, – надо велеть затопить камин...

– Я пришел проститься с вами; я еду – вы знаете? – спросил он вдруг, взглянув на нее. Она ничего.

– Куда? – спросила только.

– В деревню, к бабушке... Вам не жаль, не скучно будет без меня?

Она думала и, казалось, решала эти вопросы про себя.

– Видите, кухня, для меня и то уж счастье, что тут есть какое-то колебание, что у вас не вырвалось ни да, ни нет. Внезапное *да* – значило бы обман, любезность или уж такое счастье, какого я не заслужил; а от *нет* было бы мне больно. Но вы не знаете сами, жаль вам или нет: это уж много от вас, это половина победы...

– А вы надеетесь на полную? – спросила она с улыбкой.

– Плохой солдат, который не надеется быть генералом, сказал бы я, но не скажу: это было бы слишком... невозможно.

Он глядел на нее и хотел бы, дал бы бог знает что, даже втайне ждал, чтоб она спросила «почему?», но она не спросила, и он подавил вздох.

– Невозможно, – повторил он, – и в доказательство, что у меня нет таких колоссальных надежд, я пришел проститься с вами, может быть, надолго.

– Мне жаль вас, cousin, – вдруг сказала она тихо, мягко и почти с чувством.

Он обернулся к ней так живо, как человек, у которого болели зубы и вдруг прошла боль.

– Жаль! – повторил он, – правда ли это?

– Совершенно. Вы знаете, я никогда не лгу.

Он взял ее ладонь и с упоением целовал. Она не отнимала руки.

– Вот, вот, за это право целовать так вашу руку чего бы не сделали все эти, которые толпятся около вас!

– Стало быть, вы счастливы: вы пользуетесь этим правом свободно...

– Да, как cousin! Но чего бы не сделал я, – говорил он, глядя на нее почти пьяными глазами, – чтоб целовать эту ладонь иначе... вот так...

Он хотел опять целовать, она отняла руку.

– Не смею сомневаться, что вам немного... жаль меня, – продолжал он, – но как бы хотелось знать, отчего? Зачем бы вы желали иногда видеть меня?

– Чтоб слышать вас. Вы много, конечно, преувеличиваете, но иногда объясняете верно там, где я понимаю, но не могу сама сказать, не умею...

– А, сознались наконец! Так вот зачем я вам нужен: вы заглядываете в меня, как в арабский словарь... Незавидная роль! – прибавил он со вздохом.

– Но вы сами, cousin, сейчас сказали, что не надеетесь быть генералом и что всякий, просто за внимание мое, готов бы... поползти куда-то... Я не требую этого, но если вы мне дадите немного...

– Дружбы? – спросил Райский.

– Да.

– Ну, так я знал. Ох, эта дружба!

– Нет, cousin, я вижу, что вы не отказались от «генеральского чина»...

– Нет, нет, кузина, я не надеюсь и оттого, повторяю, еду. Но вы сказали мне, что вам скучно без меня, что меня вам будет недоставать, и я, как утопающий, хватаюсь за соломинку.

– И не напрасно хватаетесь. Я предлагаю вам не безделицу: дружбу. Если для одного ласкового взгляда или слова можно ползти такую даль, на край света, то для дружбы, которой я никому легко не даю...

– Дружба хороша, кузина, когда она – шаг к любви, или иначе – она просто нелепость, даже иногда оскорбление.

– Как это?

– Так. Вы мне дадите право входить без доклада к себе, и то не всегда: вот сегодня рассердились, будете гонять меня по городу с поручениями – это привилегия кузней, даже советоваться со мной, если у меня есть вкус, как одеться; удостоите искреннего отзыва о ваших родных, знакомых, и, наконец, дойдет до оскорбления... до того, что поверите мне сердечный секрет, когда влюбитесь...

У Софьи в лице показалось принуждение; она даже притворно зевнула в сторону. Он заметил.

– Не влюбились ли вы уже? – вдруг спросил он.

– А что?

– Что значит это смущение?

– Смущение? Я смутилась? – говорила она и поглядела в зеркало. – Я не смутилась, а вспомнила только, что мы условились не говорить о любви. Прошу вас, cousin, – вдруг серьезно прибавила она, – помнить уговор. Не будем, пожалуйста, говорить об этом.

Он удивился этой просьбе и задумался. Она и прежде просила, но шутя, с улыбкой. Самолюбие шепнуло было ему, что он постучался в ее сердце даром, что оно отзывается, что смущение и внезапная, неловкая просьба не говорить о любви – есть боязнь, осторожность.

Потом он отбросил эту мысль и сам покраснел от сознания, что он фат, и искал других причин, а сердце ноет, мучится, терзается, глаза впиваются в нее с вопросами, слова кипят на языке и не сходят. Его уже гложет ревность.

«Что ж это? Ужели я, не шутя, влюблен? – думал он. – Нет, нет! И что мне за дело? ведь я не для себя хлопотал, а для нее же... для развития... „для общества“. Еще последнее усилие!..»

– Последний вопрос, кузина, – сказал он вслух, – если б... – И задумался: вопрос был решителен, – если б я не принял дружбы, которую вы подносите мне, как похвальный лист за благонравие, а задался бы задачей «быть генералом»: что бы вы сказали? мог ли бы, могу ли!.. «Она не кокетка, она скажет истину!» – подумал он.

– Поддержали бы вы эту надежду, кузина?

Он дрожа выговаривал последние слова и боялся взглянуть на нее. Она засмеялась.

– У вас нет никаких надежд, cousin, – произнесла она равнодушно.

Он сделал нетерпеливое движение, как будто сомнение в этом было невозможно.

– Нет, и не может быть! – повторила она решительно. – Вы все преувеличиваете: простая любезность вам кажется каким-то *entrainement*,⁶² в обыкновенном внимании вы видите страсть и сами в каком-то бреде. Вы выходите из роли кузена и друга – позвольте напомнить вам.

– Так вы смешиваете меня с светскими любезниками, волокитами?

– *Fi, quelles expressions!*⁶³

– Да, вот с этими, что порхают по гостиным, по ложам, с псевдонежными взглядами, страстно-почтительными фразами и заученным остроумием. Нет, кузина, если я говорю о себе, то говорю, что во мне есть; язык мой верно переводит голос сердца. Вот год я у вас: ухожу и уношу мысленно вас с собой, и что чувствую, то сумею выразить.

– Зачем мне это? – вдруг спросила она.

Он замолчал, озадаченный этим «зачем». Тут был весь ответ на его вопрос о надеждах на «генеральство». И довольно бы, не спрашивать бы ему дальше, а он спрашивал!

– Вы... не любите меня, кузина? – спросил он тихо и вкрадчиво.

– Очень! – весело отвечала она.

– Не шутите, ради Бога! – раздражительно сказал он.

– Даю вам слово, что не шучу.

«Спросить, влюблены ли вы в меня – глупо, так глупо, – думал он, – что лучше уеду, ничего не узнав, а ни за что не спрошу... Вот, поди ж ты: „выше мира и страстей“, а хитрит, вертится и ускользает, как любая кокетка! Но я узнаю! брякну неожиданно, что у меня бродит в душе...»

Во время этого мысленного монолога она с лукавой улыбкой смотрела на него и, кажется, не чужда была удовольствия помучить его и помучила бы, если б... он не «брякнул» неожиданным вопросом.

⁶² увлечением (*фр.*).

⁶³ Фи, что за выражения! (*фр.*)

– Вы влюблены в этого итальянца, в графа Милари – да? – спросил он и погрузил в нее взгляд и чувствовал сам, что бледнеет, что одним мигом как будто взвалил тысячи пуд себе на плечи.

Улыбка, дружеский тон, свободная поза – все исчезло в ней от этого вопроса. Перед ним холодная, суровая, чужая женщина. Она была так близка к нему, а теперь казалась где-то далеко, на высоте, не родня и не друг ему.

«Должно быть, это правда: я угадал!» – подумал он и разбирал, отчего угадал он, что подало повод ему к догадке? Он видел один раз Милари у ней, а только когда заговорил о нем – у ней пробежала какая-то тень по лицу, да пересела она спиной к свету.

«Боже мой! зачем я все вижу и знаю, где другие слепы и счастливы? Зачем для меня довольно шороха, ветерка, самого молчания, чтоб знать? Проклятое чутье! Вот теперь яд прососался в сердце, а из каких благ?»

Она молчала.

– Вы обиделись, кузина?

Она молчала.

– Скажите: да?

– Вы сами знаете, что может произвести подобная догадка.

– Я знаю больше, кузина: я знаю и причину, почему вы обиделись.

– Позвольте узнать.

– Потому, что это правда.

Она сделала движение и поглядела на него с изумлением, как будто говоря: «Вы еще настаиваете!»

– И этот взгляд не ваш, кузина, а заимствованный!

– Я притворяюсь! Вы приписываете себе много чести, мсьё Райский!

Он засмеялся, потом вздохнул.

– Если это неправда, то... что обидного в моей догадке? – сказал он, – а если правда, то опять-таки... что обидного в этой правде? Подумайте над этой дилеммой, кузина, и покайтесь, что вы напрасно хотели подавить достоинство вашего бедного cousin!

Она слегка пожала плечами.

– Да, это так, и все, что вы делаете в эту минуту, выражает не оскорбление, а досаду, что у вас похитили тайну... И самое оскорбление это – только маска.

– Какая тайна? Что вы! – говорила она, возвышая голос и делая большие глаза. – Вы употребляете во зло права кузена – вот в чем и вся тайна. А я неосторожна тем, что принимаю вас во всякое время, без тетюшек и папа...

– Кузина, бросьте этот тон! – начал он дружески, горячо и искренно, так что она почти смягчилась и мало-помалу приняла прежнюю, свободную, доверчивую позу, как будто видела, что тайна ее попала не в дурные руки, если только тут была тайна.

– Вот что значит Олимп! – продолжал он. – Будь вы просто женщина, не богиня, вы бы поняли мое положение, взглянули бы в мое сердце и поступили бы не сурово, а с пощадой, даже если б я был вам совсем чужой. А я вам близок. Вы говорите, что любите меня дружески, скупае, не видя меня... Но женщина бывает сострадательна, нежна, честна, справедлива только с тем, кого любит, и безжалостна ко всему прочему. У злодея под ножом скорее допросишься пощады, нежели у женщины, когда ей нужно закрыть свою любовь и тайну.

– К чему вы это мне говорите? Со мной это вовсе не у места! А я еще просила вас оставить разговор о любви, о страстях...

– Знаю, кузина, знаю и причину: я касаюсь вашей раны. Но ужели мое дружеское прикосновение так грубо!.. Ужели я не стою доверенности!..

– Какой доверенности? Какие тайны? Ради Бога, cousin... – говорила она, глядя в беспокойстве по сторонам, как будто хотела уйти, заткнуть уши, не слышать, не знать.

– Пусть я смешон с своими надеждами на «генеральство», – продолжал он, не слушая ее, горячо и нежно, – но, однако ж, чего-нибудь да стою я в ваших глазах – не правда ли? Скажу больше: около вас, во всей вашей жизни, никогда не было и нет, может быть, и не будет человека ближе к вам. И вы сами давеча сказали то же, хотя не так ясно. У вас не было человека настоящего, живого, который бы так коротко знал людей и сердце и объяснял бы вам вас самих. Вы во мне читаете свои мысли, поверяете чувства. Я – не тетушка, не папа, не предок ваш, не муж: никто из них не знал жизни: все они на ходулях, все замкнулись в кружок старых, скудных понятий, условного воспитания, так называемого тона, и нищенски пробавляются ими. Я живой, свежий человек; я приношу к вам сюда незнакомые здесь понятия и чувства; я новость для вас; я занимаю... виноват... занимал вас... Правда ли это, кузина?

Она молчала.

– Теперь, конечно, другое дело: теперь вы рады, что я еду, – продолжал он, – все прочие могут остаться; вам нужно, чтоб я один уехал...

– Почему?

– Потому, что один я лишний в эту минуту, один я прочел вашу тайну в зародыше. Но... если вы мне вверите ее, тогда я, после *него*, буду дороже для вас всех...

Она сделала движение, встала, прошлась по комнате, оглядывая стены, портреты, глядя далеко в анфиладу комнат и как будто не видя выхода из этого положения, и с нетерпением села в кресло.

– Но... – начал он опять нежным дружеским голосом, – я вас люблю, кузина (она выпрямилась), всячески люблю, и больше всего люблю за эту поразительную красоту; вы владеете мной невольно и бессознательно. Вы можете сделать из меня все – вы это знаете...

– Послушайте... Вы хотите уверить меня, что у вас... что-то вроде страсти, – сказала она, делая как будто уступку ему, чтоб отвлечь, затушевать его настойчивый анализ, – смотрите, не лжете ли вы... положим – невольно? – прибавила она, видя, что он собирается разразиться каким-нибудь монологом. – Месяц, два тому назад ничего не было, были какие-то порывы – и вдруг так скоро... вы видите, что это ненатурально, ни ваши восторги, ни мучения: извините, *cousin*, я не верю, и оттого у меня нет и пощады, которой вы добиваетесь. Воля ваша, а мне придется разжаловать вас из кузней: вы самый беспокойный *cousin* и друг...

– Для страсти не нужно годов, кузина: она может зародиться в одно мгновение. Но я и не уверяю вас в страсти, – уныло прибавил он, – а что я взволнован теперь – так я не лгу. Не говорю опять, что я умру с отчаяния, что это вопрос моей жизни – нет; вы мне ничего не дали, и нечего вам отнять у меня, кроме надежд, которые я сам возбудил в себе... Это ощущение: оно, конечно, скоро пройдет, я знаю. Впечатление, за недостатком пищи, не упрочилось – и слава Богу!

Он вздохнул.

– Чего же вы хотите? – спросила она.

– Меня оскорбляет ваш ужас, что я заглянул к вам в сердце...

– Там ничего нет, – монотонно сказала она.

– Есть, есть, и мне тяжело, что я не выиграл даже этого доверия. Вы боитесь, что я не сумею обойтись с вашей тайной. Мне больно, что вас пугает и стыдит мой взгляд... кузина, кузина! А ведь это мое дело, моя заслуга, ведь я виноват... что вывел вас из темноты и слепоты, что этот Милари...

Она слушала довольно спокойно, но при последнем слове быстро встала.

– Если вы, *cousin*, дорожите немного моей дружбой, – заговорила она, и голос у ней даже немного изменился, как будто дрожал, – и если вам что-нибудь значит быть здесь... видеть меня... то... не произносите имени!

«Да, это правда, я попал: она любит его! – решил Райский, и ему стало уже легче, боль замирала от безнадежности, оттого, что вопрос был решен и тайна объяснилась. Он уже стал смотреть на Софью, на Милари, даже на самого себя со стороны, объективно.

– Не бойтесь, кузина, ради Бога, не бойтесь, – говорил он. – Хороша дружба! Бояться, как шпиона стыдиться...

– Мне бояться и стыдиться некого и нечего!

– Как нечего, а света, а их! – указал он на портреты предков. – Вон как они вытаращили глаза! Но разве я – они? Разве я – свет?

– И правду сказать, есть чего бояться предков! – заметила совершенно свободно и покойно Софья, – если только они слышат и видят вас! Чего не было сегодня! и упреки, и declaration,⁶⁴ и ревность... Я думала, что это возможно только на сцене... Ах, cousin... – с веселым вздохом заключила она, впадая в свой слегка насмешливый и спокойный тон.

В самом деле ей нечего было ужасаться и стыдиться: граф Милари был у ней раз шесть, всегда при других, пел, слушал ее игру, и разговор никогда не выходил из пределов обыкновенной учтивости, едва заметного благоухания тонкой и покорной лести.

Другая бы сама бойко произносила имя красавца Милари, тщеславилась бы его вниманием, немного бы покетничала с ним, а Софья запретила даже называть его имя и не знала, как зажать рот Райскому, когда он так невпопад догадался о «тайне».

Никакой тайны нет, если она приняла эту догадку равнодушно, так, вероятно, затем, чтоб истребить и в нем даже тень подозрения.

Она влюблена – какая нелепость, Боже сохрани! Этому никто и не поверит. Она по-прежнему смело подняла голову и покойно глядела на него.

– Прощайте, кузина! – сказал он вяло.

– Разве вы не у нас сегодня? – отвечала она ласково. – Когда вы едете?

«Лесть, хитрость: золотит пиллюлю!» – думал Райский.

– Зачем я вам? – отвечал он вопросом.

– Вижу, что дружба моя для вас – ничто! – сказала она.

– Ах, неправда, кузина! Какая дружба: вы боитесь меня!

– Слава Богу, мне еще нечего бояться.

– *Еще* нечего? А если будет что-нибудь, удостоите ли вы меня вашего доверия?

– Но вы говорите, что это оскорбительно: после этого я боялась бы...

– Не бойтесь! Я сказал, что надежды могли бы разыграться от взаимности, а ее ведь... нет? – робко спросил он и пылливо взглянул на нее, чувствуя, что, при всей безнадежности, надежда еще не совсем испарилась из него, и тут же мысленно назвал себя дураком.

Она медленно и отрицательно покачала головой.

– И... быть не может? – все еще пылливо спрашивал он.

Она засмеялась.

– Вы неисправимы, cousin, – сказала она. – Всякую другую вы поневоле заставите кокетничать с вами. Но я не хочу и прямо скажу вам: нет.

– Следовательно, вам и бояться нечего ввериться мне! – с унынием договорил он.

– Parole d'honneur,⁶⁵ мне нечего вверять.

– Ах, есть, кузина!

– Что же такое хотите вы, чтоб я вверила вам, dites positivement.⁶⁶

– Хорошо: скажите, чувствуете ли вы какую-нибудь перемену с тех пор, как этот Милари...

⁶⁴ признание (фр.).

⁶⁵ Честное слово (фр.).

⁶⁶ скажите определеннее (фр.).

Она сделала движение, и лицо опять менялось у нее из дружеского на принужденное и холодное.

– Нет, нет, *pardon* – я не назову его... с тех пор, хочу я сказать, как он появился, стал ездить в дом...

– Послушайте, *cousin*... – начала она и остановилась на минуту, затрудняясь, по-видимому, продолжать, – положим, если б... *enfin si c'était vrai*⁶⁷ – это быть не может, – скороговоркой, будто в скобках, прибавила она, – но что... вам... за дело после того, как...

Он вспыхнул.

– Что за дело! – вдруг горячо перебил он, делая большие глаза. – Что за дело, кузина? Вы снизойдете до какого-нибудь *parvenu*,⁶⁸ до какого-то Милари, итальянца, вы, Пахотина, блеск, гордость, перл нашего общества! Вы... вы! – с изумлением, почти с ужасом повторял он.

А она с изумлением смотрела на него, как он весь внезапно вспыхнул, какие яростные взгляды метал на нее.

– Но он, во-первых, граф... а не *parvenu*... – сказала она.

– Купленный или украденный титул! – возражал он в пылу. – Это один из тех пройдох, что, по словам Лермонтова, приезжают сюда «на ловлю счастья и чинов», втираются в большие дома, ищут протекции женщин, протираются в службу и потом делаются грансеньорами. Берегитесь, кузина, мой долг оберечь вас! Я вам родственник!

Все это он говорил чуть не с пеной у рта.

– Никто ничего подобного не заметил за ним! – с возрастающим изумлением говорила она, – и если папа и *mes tantes*⁶⁹ принимают его...

– Папа и *mes tantes*! – с пренебрежением повторил он, – много знают они: послушайте их!

– Кого же слушать: вас?

Она улыбнулась.

– Да, кузина, и я вам говорю: остерегайтесь! Это опасные выходцы: может быть, под этой интересной бледностью, мягкими кошачьими манерами кроется бесстыдство, алчность и бог знает что! Он компрометирует вас...

– Но он везде принят, он очень скромен, деликатен, прекрасно воспитан...

– Все это вы видите в своем воображении, кузина, – поверьте!

– Но вы его не знаете, *cousin*! – возражала она с полуулыбкой, начиная наслаждаться его внезапной раздражительностью.

– Довольно мне одной минуты было, чтоб разглядеть, что это один из тех *chevaliers d'industrie*,⁷⁰ которые сотнями бегут с голода из Италии, чтобы пожить...

– Он артист, – защищала она, – и если он не на сцене, так потому, что он граф и богат... *c'est un homme distingué*.⁷¹

– А! вы защищаете его – поздравляю! Так вот на кого упали лучи с высоты Олимпа! Кузина! кузина! на ком вы удостоили остановить взоры! Опомнитесь, ради Бога! Вам ли, с вашими высокими понятиями, снизойти до какого-то безвестного выходца, может быть самозванца-графа...

Она уже окончательно развеселилась и, казалось, забыла свой страх и осторожность.

– А Ельнин? – вдруг спросила она.

⁶⁷ словом, если б это была правда (*фр.*).

⁶⁸ выскочка (*фр.*).

⁶⁹ тетушки (*фр.*).

⁷⁰ рыцарей наживы, проходимцев (*фр.*).

⁷¹ это благовоспитанный человек (*фр.*).

– Что Ельнин? – спросил и он, внезапно остановленный ею. – Ельнин – Ельнин... – замялся он, – это детская шалость, институтское обожание. А здесь страсть, горячая, опасная!

– Что же: вы бредили страстью для меня – ну, вот я страстно влюблена, – смеялась она. – Разве мне не все равно – идти туда (она показала на улицу), что с Ельниным, что с графом? Ведь там я должна «увидеть счастье, упиться им»!

Райский стиснул зубы, сел на кресло и злобно молчал. Она продолжала наслаждаться его положением.

– Уф! – говорил он, мучаясь, волнуясь, не оттого, что его поймали и уличили в противоречии самому себе, не оттого, что у него ускользала красавица Софья, а от подозрения только, что счастье быть любимым выпало другому. Не будь другого, он бы покойно покорился своей судьбе.

А она смотрела на него с торжеством, так ясно, покойно. Она была права, а он запутался.

– Что же, cousin, чему я должна верить: им ли? – она указала на предков, – или, бросив все, не слушая никого, вмешаться в толпу и жить «новой жизнью»?

– И тут вы остались верны себе! – возразил он вдруг с радостью, хватаясь за соломинку, – завет предков висит над вами: ваш выбор пал все-таки на графа! Ха-ха-ха! – судорожно засмеялся он. – А остановили ли бы вы внимание на нем, если б он был не граф? Делайте, как хотите! – с досадой махнул он рукой. – Ведь... «что мне за дело»? – возразил он ее словами. – Я вижу, что он, этот *homme distingue*, изящным разговором, полным ума, новизны, какого-то трепета, уже тронул, пошевелил и... и... да, да?

Он принужденно засмеялся.

– Что ж, прекрасно! Италия, небо, солнце и любовь... – говорил он, качая, в волнении, ногой.

– Да, помните, в вашей программе было и это, – заметила она, – вы посылали меня в чужие края, даже в чухонскую деревню, и там, «наедине с природой»... По вашим словам, я должна быть теперь счастлива? – дразнила она его. – Ах, cousin! – прибавила она и засмеялась, потом вдруг сдержала смех.

Он исподлобья смотрел на нее. Она опять становилась задумчива и холодна; опять осторожность начала брать верх.

– Успокойтесь: ничего этого нет, – сказала она кротко, – и мне остается только поблагодарить вас за этот новый урок, за предостережение. Но я в затруднении теперь, чему следовать: тогда вы толкали туда, на улицу – теперь... боитесь за меня. Что же мне, бедной, делать!.. – с комическим послушанием спросила она.

Оба молчали.

– Я возьму портрет с собой, – вдруг сказал он.

– Зачем? Вы говорили, что готовите мне подарок.

– Нет, я переделаю: я сделаю из него... грешницу...

Она опять засмеялась.

– Делайте, что хотите, cousin, Бог с вами!

– И с вами тоже!.. Но... кухня...

Он остановился: у него вдруг отошло от сердца. Он засмеялся добродушно, не то над ней, не то над собой.

– Но... но... ужели мы так расстанемся: холодно, с досадой, не друзьями!.. – вдруг прорвалось у него, и досада миновала. Он, встав, протянул к ней руки, и глаза опять с упоением смотрели на нее. Ему не то чтобы хотелось дружбы, не то чтобы сердце развернулось к прежним, добрым чувствам. А зародыш впечатления еще не совсем угас, еще искра тлела, и его влекло к ней, пока он ее видел. В голосе у него все еще слышалась робкая дрожь.

Говорила вместе и доброта, прирожденная его душе, где не упрочивались никогда дурные чувства.

– Друзьями! Как вы поступили с моей дружбой!.. – упрекнула она.

– Дайте, возвратите ее, кузина, – умолял он, – простите немножко... влюбленного в вас cousin, и прощайте!

Он поцеловал у ней руку.

– Разве я не увижу вас больше? – живо спросила она.

– За этот вопрос дайте еще руку. Я опять прежний Райский и опять говорю вам: любите, кузина, наслаждайтесь, помните, что я вам говорил вот здесь... Только не забывайте до конца Райского. Но зачем вы полюбили... графа? – с улыбкой, тихо прибавил он.

– Вы опять свое «любить»!..

– Полноте притворяться, полноте! Бог с вами, кузина: что мне за дело? Я закрываю глаза и уши, я слеп, глух и нем, – говорил он, закрывая глаза и уши. – Но если, – вдруг прибавил он, глядя прямо на нее, – вы почувствуете все, что я говорил, предсказывал, что, может быть, вызвал в вас... на свою шею – скажете ли вы мне!.. я стою этого.

– Вы напрашиваетесь на «оскорбление»?

– Нужды нет, я буду героем, рыцарем дружбы, первым из кузней! Подумав, я нахожу, что дружба кузней и кузин очень приятная дружба, и принимаю вашу.

– А la bonne heure!⁷² – сказала она, протягивая ему руку, – и если я почувствую что-нибудь, что вы предсказывали, то скажу вам одним или никогда никому и ничего не скажу. Но этого никогда не будет и быть не может! – торопливо добавила она. – Довольно, cousin, вон карета подъехала: это тетушки.

Она встала, оправилась у зеркала и пошла им навстречу.

– А будете отвечать мне на письма? – спросил он, идучи за ней.

– С удовольствием: обо всем, кроме... любви!

«Неисправима! – подумал он, – но посмотрим, что будет!»

Он шел тихий, задумчивый, с блуждающим взглядом, погруженный глубоко в себя. В нем постепенно гасли боли корыстной любви и печали. Не стало страсти, не стало как будто самой Софьи, этой суетной и холодной женщины; исчезла пестрая мишура украшений; исчезли портреты предков, тетки, не было и ненавистного Милари.

Перед ним, как из тумана, возникал один строгий образ чистой женской красоты, не Софьи, а какой-то будто античной, нетленной, женской фигуры. Снились одна только творческая мечта, развивалась грандиозной картиной, охватывала его все более и более.

Он, притаив дыхание, погрузился в артистический сон и наблюдал видение, боялсядохнуть.

Женская фигура, с лицом Софьи, рисовалась ему белой, холодной статуей, где-то в пустыне, под ясным, будто лунным небом, но без луны; в свете, но не солнечном, среди сухих нагих скал, с мертвыми деревьями, с нетекущими водами, с странным молчанием. Она, обратив каменное лицо к небу, положив руки на колени, полуоткрыв уста, кажется, жаждала пробуждения.

И вдруг из-за скал мелькнул яркий свет, задрожали листья на деревьях, тихо зажурчали струи вод. Кто-то вострепнулся в ветвях, кто-то пробежал по лесу; кто-то вздохнул в воздухе – и воздух заструился, и луч озолотил бледный лоб статуи; веки медленно открылись, и искра пробежала по груди, дрогнуло холодное тело, бледные щеки зардели, лучи упали на плечи.

Сзади оторвалась густая коса и рассыпалась по спине, краски облили камень, и волна жизни пробежала по бедрам, задрожали колени, из груди вырвался вздох – и статуя ожила, повела радостный взгляд вокруг...

⁷² В добрый час! (фр.)

И дальше, дальше жизнь волнами вторгалась в пробужденное сознание...

Члены стали жизненны, телесны; статуя шевелилась, широко глядела лучистыми глазами вокруг, чего-то просила, ждала, о чем-то начала тосковать. Воздух наполнился теплом; над головой распростерлись ветви; у ног явились цветы...

Райский все шел тихо, глядя душой в этот сон: статуя и все кругом постепенно оживало, делалось ярче... И когда он дошел до дома, созданная им женщина мало-помалу опять обращалась в Софью.

Пустыня исчезла; Софья, в мечте его, была уже опять в своем кабинете, затянутая в свое платье, за сонатой Бетховена, и в трепете слушала шепот бедного, страстного Милари.

Но ни ревности, ни боли он не чувствовал и только трепетал от красоты как будто перерожденной, новой для него женщины. Он любовался уже их любовью и радовался их радостью, томясь жаждой превратить и то и другое в образы и звуки. В нем умер любовник и ожил бескорыстный артист.

«Да, артист не должен пускать корней и привязываться безвозвратно, – мечтал он в забытии, как в бреду. – Пусть он любит, страдает, платит все человеческие дани... но пусть никогда не упадет под бременем их, но расторгнет эти узы, встанет бодр, бесстрастен, силен и творит: и пустыню, и каменья, и наполнит их жизнью и покажет людям – как они живут, любят, страдают, блаженствуют и умирают... Зачем художник послан в мир!...»

Райский тщательно внес в программу будущего романа и это видение, как прежде внес разговоры с Софьей и эпизод о Наташе и многое другое, что должно поступить в лабораторию его фантазии.

«Где же тут роман? – печально думал он, – нет его! Из всего этого материала может выйти разве пролог к роману! а самый роман – впереди, или вовсе не будет его! Какой роман найду я там, в глуши, в деревне! Идиллию, пожалуй, между курами и петухами, а не роман у живых людей, с огнем, движением, страстью!»

Однако он прежде всего погрузил на дно чемодана весь свой литературный материал, потом в особый ящик поместил эскизы карандашом и кистью пейзажей, портретов и т. п., захватил краски, кисти, палитру, чтобы устроить в деревне небольшую мастерскую, на случай если роман не пойдет на лад.

Потом уже уложил запас белья, платья и некоторые подарки бабушке, сестрам и замшевую фуфайку с панталонами Титу Никонычу, по поручению Татьяны Марковны.

– Ну, теперь – *dahin!*⁷³ Посмотрим, что будет! – задумчиво говорил он, уезжая из Петербурга.

⁷³ туда! (нем.)

Часть вторая

I

Тихой, сонной рысью пробирался Райский, в рогожной перекладной кибитке, на тройке тощих лошадей, по переулкам, к своей усадьбе.

Он не без смущения завидел дымок, выходящий из труб родной кровли, раннюю, нежную зелень берез и лип, осеняющих этот приют, черепичную кровлю старого дома и блеснувшую между деревьев и опять скрывшуюся за ними серебряную полосу Волги. Оттуда, с берега, повеяла на него струя свежего, здорового воздуха, каким он давно не дышал.

Вот ближе, ближе: вон запестрели цветы в садике, вон дальше видны аллеи лип и акаций, и старый вяз, левее – яблони, вишни, груши.

Вон резвятся собаки на дворе, жмутся по углам и греются на солнце котята; вон скворечники зыблются на тонких жердях; по кровле нового дома толкутся голуби, поверх реют ласточки.

Вон за усадьбой, со стороны деревни, целая луговина покрыта разостланными на солнце полотнами.

Вон баба катит бочонок по двору, кучер рубит дрова, другой, какой-то, садится в телегу, собирается ехать со двора: всё незнакомые ему люди. А вон Яков сонно смотрит с крыльца по сторонам. Это знакомый: как постарел!

Вон другой знакомый, Егор, зубоскал, напрасно в третий раз силится вскочить верхом на лошадь, та не дается; горничные, в свою очередь, скалят над ним зубы.

Он едва узнал Егора: оставил его мальчишкой восемнадцати лет. Теперь он возмужал: усы до плеч и все тот же хохол на лбу, тот же нахальный взгляд и вечно оскаленные зубы!

Вон, кажется, еще знакомое лицо: как будто Марина или Федосья – что-то в этом роде: он смутно припомнил молодую, лет пятнадцати девушку, похожую на эту самую, которая теперь шла через двор.

И все успел зорким взглядом окинуть Райский, пробираясь пешком подле экипажа, мимо решетчатого забора, отделяющего дом, двор, цветник и сад от проезжей дороги.

Он продолжал любоваться всей этой знакомой картиной, переходя глазами с предмета на предмет, и вдруг остановил их неподвижно на неожиданном явлении.

На крыльце, вроде веранды, уставленной большими кадками с лимонными, померанцевыми деревьями, кактусами, алоэ и разными цветами, отгороженной от двора большой решеткой и обращенной к цветнику и саду, стояла девушка лет двадцати и с двух тарелок, которые держала перед ней девочка лет двенадцати, босая, в выбойчатом платье, брала горстями пшено и бросала птицам. У ног ее толпились куры, индейки, утки, голуби, наконец воробьи и галки.

– Цып, цып, ти, ти, ти! гуль, гуль, гуль, – ласковым голосом приглашала девушка птиц к завтраку.

Куры, петухи, голуби торопливо хватали, отступали, как будто опасаясь ежеминутного предательства, и опять совались. А когда тут же вертелась галка и, подскакивая боком, норвила воровски клюнуть пшена, девушка топала ногой. «Прочь, прочь; ты зачем?» – кричала она, замахиваясь, и вся пернатая толпа влет разбрасывалась по сторонам, а через минуту опять головки кучей совались жадно и торопливо клевать, как будто воруя зерна.

– Ах ты, жадный! – говорила девушка, замахиваясь на большого петуха, – никому не даешь – кому ни брошу, везде схватит!

Утреннее солнце ярко освещало суетливую группу птиц и самую девушку. Райский успел разглядеть большие темно-серые глаза, кругленькие здоровые щеки, белые тесные зубы, светло-русую, вдвое сложенную на голове косу и вполне развитую грудь, рельефно отливавшуюся в тонкой белой блузе.

На шее не было ни косынки, ни воротничка: ничто не закрывало белой шеи, с легкой тенью загара. Когда девушка замахнулась на прожорливого петуха, у ней половина косы, от этого движения, упала на шею и спину, но она, не обращая внимания, продолжала бросать зерна.

Она то смеялась, то хмурилась, глядела так свежо и бодро, как это утро, наблюдая, всем ли поровну достается, не подскакивает ли галка, не набралось ли много воробьев.

– Гусенка не видала? – спросила она у девочки грудным звонким голосом.

– Нет еще, барышня, – сказала та, – да его бы выкинуть кошкам. Афимья говорит, что околеет.

– Нет, нет, я сама посмотрю, – перебила девушка, – у Афимьи никакой жалости нет: она живого готова бросить.

Райский, не шевелясь, смотрел, никем не замечаемый, на всю эту сцену, на девушку, на птиц, на девчонку.

«Так и есть: идиллия! я знал! Это, должно быть, троюродная сестрица, – думал он, – какая она миленькая! Какая простота, какая прелесть! Но которая: Верочка или Марфенька?»

Он, не дожидаясь, пока ямщик завернет в ворота, бросился вперед, пробежал остаток решетки и вдруг очутился перед девушкой.

– Сестрица! – вскрикнул он, протягивая руки.

В одну минуту, как будто по волшебству, все исчезло. Он не успел уловить, как и куда пропали девушка и девчонка: воробьи, мимо его носа, проворно и дружно махнули на кровлю. Голуби, похлопывая крыльями, точно ладонями, врассыпную кружились над его головой, как слепые.

Куры с отчаянным кудахтаньем бросились по углам и пробовали с испугу скакать на стену. Индейский петух, подняв лапу и озираясь вокруг, неистово выругался по-своему, точно сердитый командир оборвал всю команду на ученье за беспорядок.

Все люди на дворе, опешив за работой, с разинутыми ртами глядели на Райского. Он сам почти испугался и смотрел на пустое место: перед ним на земле были только одни рассыпанные зерна.

Но в доме уже послышался шум, говор, движение, звон ключей и голос бабушки: «Где он? где?»

Она идет, торопится, лицо у ней сияет, объятия растворяются. Она прижала его к себе, и около губ ее улыбка образовала лучи.

Она хотя постарела, но постарела ровною, здоровою старостью: ни болезненных пятен, ни глубоких, нависших над глазами и ртом морщин, ни тусклого, скорбного взгляда!

Видно, что ей живется крепко, хорошо, что она если и борется, то не дает одолеваться себя жизни, а сама одолевает жизнь и тратит силы в этой борьбе скупно.

Голос у ней не так звонок, как прежде, да ходит она теперь с тростью, но не горбится, не жалуется на недуги. Так же она без чепца, так же острижена коротко, и тот же блестящий здоровьем и добротой взгляд озаряет все лицо, не только лицо, всю ее фигуру.

– Борюшка! друг ты мой!

Она обняла его раза три. Слезы навернулись у ней и у него. В этих объятиях, в голосе, в этой вдруг охватившей ее радости – точно как будто обдало ее солнечное сияние – было столько нежности, любви, теплоты!

Он почувствовал себя почти преступником, что, шатаясь по свету, в холостой, бесприютной жизни своей, искал привязанностей, волоча сердце и соря чувствами, гоняясь за

запретными плодами, тогда как здесь сама природа угодила ему теплый угол, симпатии и счастье.

Теперь он готов был влюбиться в бабушку. Он так и вцепился в нее: целовал ее в губы, в плечи, целовал ее седые волосы, руку. Она ему казалась совсем другой теперь, нежели пятнадцать, шестнадцать лет назад. У ней не было тогда такого значения на лице, какое он видел теперь, ума, чего-то нового.

Он удивлялся, не сообразив в эту минуту, что тогда еще он сам не был настолько мудр, чтобы уметь читать лица и угадывать по ним ум или характер.

— Где ты пропадал? Ведь я тебя целую неделю жду: спроси Марфеньку — мы не спали до полуночи, я глаза проглядела. Марфенька испугалась, как увидела тебя, и меня испугала — точно сумасшедшая прибежала. Марфенька! где ты? Поди сюда.

— Это я виноват: я перепугал ее, — сказал Райский.

— А она бежать: умна очень! А ждала со мной, не ложилась спать, ходила навстречу, на кухню бегала. Ведь каждый день твои любимые блюда готовим. Я, Василиса и Яков собираемся по утрам на совет и все припоминаем твои привычки. Другие всё почти новые люди, а эти трое, да Прохор, да Маришка, да разве Улита и Терентий помнят тебя. Всё придумываем, как тебя устроить, чем кормить, как укладывать спать, на чем тебе ездить. А всех вострее Егорка: он напоминал больше всех: я его за это в твои камердинеры пожаловала... Да что это я болтаю: соловья баснями не кормят! Василиса! Василиса! Что ж мы сидим: скорей вели собирать на стол, до обеда долго, он позавтракает. Чай, кофе давай, птичьего молока достань! — И сама засмеялась. — Дай же взглянуть на тебя.

Бабушка поглядела на него пристально, подводя его к свету.

— Какой ты нехороший стал... — сказала она, оглядывая его, — нет, ничего, живет! загорел только! Усы тебе к лицу. Зачем бороду отпускаешь! Обрей, Борюшка, я не люблю... Э, э! Кое-где седые волоски: что это, батюшка мой, рано стареться начал!

— Это не от старости, бабушка!

— Отчего же? Здоров ли ты?

— Здоров, живу — поговорим о другом. Вот вы, слава Богу, такая же...

— Какая такая?

— Не стареетесь: такая же красавица! Знаете: я не видал такой старческой красоты никогда...

— Спасибо за комплимент, внучек: давно я не слыхала — какая тут красота! Вон на кого полюбуйся — на сестер! Скажу тебе на ухо, — шепотом прибавила она, — таких ни в городе, ни близко от него нет. Особенно другая... разве Настенька Мамыкина поспорит: помнишь, я писала, дочь откупщика?

Она лукаво мигнула ему.

— Что-то не помню, бабушка...

— Ну, об этом после, а теперь завтракать скорей и отдохни с дороги...

— Где же другая сестра? — спросил Райский, оглядываясь.

— Гостит у попадьи за Волгой, — сказала бабушка. — Такой грех: та нездорова сделалась и прислала за ней. Надо же в это время случиться! Сегодня же пошлю за ней лошадь...

— Нет, нет, — удержал ее Райский, — зачем для меня тревожить? Увижусь, когда воротится.

— Да как это ты подкрался: караулили, ждали, и всё даром! — говорила Татьяна Марковна. — Мужики караулили у меня по ночам. Вот и теперь послала было Егорку верхом на большую дорогу, не увидит ли тебя? А Савелья в город — узнать. А ты опять — как тогда! Да дайте же завтракать! Что это не дожدهшься? Помещик приехал в свое родовое имение, а ничего не готово: точно на станции! Что прежде готово, то и подавайте.

– Бабушка! Ничего не надо. Я сыт по горло. На одной станции я пил чай, на другой – молоко, на третьей попал на крестьянскую свадьбу – меня вином потчевали, ел мед, пряники...

– Ты ехал к себе, в бабушкино гнездо, и не постыдился есть всякую дрянь. С утра пряники! Вот бы Марфеньку туда: и до свадьбы и до пряников охотница. Да войди сюда, не дичись! – сказала она, обращаясь к двери. – Стыдится, что ты застал ее в утреннем неглиже. Выйди, это не чужой – брат.

Принесли чай, кофе, наконец, завтрак. Как ни отговаривался Райский, но должен был приняться за все: это было одно средство успокоить бабушку и не испортить ей утро.

– Я не хочу! – отговаривался он.

– Как с дороги не поесть: это уж обычай такой! – твердила она свое. – Вот бульону, вот цыпленка... Еще пирог есть...

– Не хочу, бабушка, – говорил он, но она клала ему на тарелку, не слушая его, и он ел и бульон, и цыпленка.

– Теперь индейку, – продолжала она, – принеси, Василиса, барбарису моченого.

– Как можно индейку! – говорил он, принимаясь и за индейку.

– Сыт ли, дружок? – спрашивала она. – Доволен ли?

– Еще бы! Чего же еще? Разве пирога... Там пирог какой-то, говорили вы...

– Да, пирог забыли, пирог!

Он поел и пирога – все из «обычая».

– Что же ты, Марфенька, давай свое угощение: вот приехал брат! Выходи же.

Минут через пять тихо отворилась дверь, и медленно, с стыдливою неловкостью, с опущенными глазами, краснея, вышла Марфенька. За ней Василиса внесла целый поднос всяких сластей, варенья, печенья и прочего.

Марфенька застенчиво стояла с полуулыбкой, взглядывая, однако, на него с лукавым любопытством. На шее и руках были кружевные воротнички, волосы в туго сложенных косах плотно лежали на голове; на ней было барежевое платье, талия крепко опоясывалась голубой лентой.

Райский вскочил, бросил салфетку и остановился перед нею, любуясь ею.

– Какая прелесть! – весело сказал он, – и это моя сестра Марфа Васильевна! Рекомендуюсь! А гусенок жив?

Марфенька смутилась, неловко присела на его поклон и стыдливо села в угол.

– Вы оба с ума сошли, – сказала бабушка, – разве этак здороваются?

Райский хотел поцеловать у Марфеньки руку.

– Марфа Васильевна... – сказал он.

– Это еще что за «Васильевна» такая? Ты разве разлюбил ее? Марфенька – а не Марфа Васильевна! Этак ты и меня в Татьяны Марковны пожалуешь! Поцелуйтесь: вы брат и сестра.

– Я не хочу, бабушка: вон он дразнит меня гусенком... Подсматривать не годится! – сказала она строго.

Все засмеялись. Райский поцеловал ее в обе щеки, взял за талию, и она одолела смущение и вдруг решительно отвечала на его поцелуй, и вся робость слетела с лица.

Видно было, что еще минута, одно слово – и из-за этой смущенной улыбки польется болтовня, смех. Она и так с трудом сдерживала себя – и от этого была неловка.

– Марфенька! помните, помнишь... как мы тут бегали, рисовали... как ты плакала!..

– Нет... ах, помню... как во сне... Бабушка, я помню или нет!..

– Где ей помнить: ей и пяти лет не было...

– Помню, бабушка, ей-богу помню, как во сне...

– Перестань, сударыня, божиться: это ты у Николая Андреича переняла!..

Едва Райский коснулся старых воспоминаний, Марфенька исчезла и скоро воротилась с тетрадями, рисунками, игрушками, подошла к нему, ласково и доверчиво заговорила, потом села так близко, как не села бы чопорная девушка. Колени их почти касались между собою, но она не замечала этого.

– Вот видите, братец, – живо заговорила она, весело бегая глазами по его глазам, усам, бороде, оглядывая руки, платье, даже взглянув на сапоги, – видите, какая бабушка, говорит, что я не помню, – а я помню, вот, право, помню, как вы здесь рисовали: я тогда у вас на коленях сидела... Бабушка припрятала все ваши рисунки, портреты, тетради, все вещи – и берегла там, вот в этой темной комнате, где у ней хранится серебро, брильянты, кружева... Она недавно вынула, как только вы написали, что приедете, и отдала мне. Вот мой портрет – какая я была смешная! а вот Верочка. А вот бабушкин портрет, вот Василисин. Вот Верочкино рисование. А помните, как вы меня несли через воду одной рукой, а Верочку посадили на плечо?

– Ты и это помнишь? – спросила, вслушавшись, бабушка. – Какая хвастунья – не стыдно тебе! Это недавно Верочка рассказывала, а ты за свое выдаешь! Та помнит кое-что, и то мало, чуть-чуть...

– Вот теперь как я рисую! – сказала Марфенька, показывая нарисованный букет цветов.

– Это очень хорошо – браво, сестрица! с натуры?

– С натуры. Я из воска умею лепить цветы!

– А музыкой занимаешься?

– Да, играю на фортепиано.

– А Верочка: рисует, играет?

Марфенька отрицательно качала головою.

– Нет, она не любит, – сказала она.

– Что же она, рукодельем занимается?

Марфенька опять покачала головой.

– Читать любит? – допытывался Райский.

– Да, читает, только никогда не скажет что и книги не покажет, не скажет даже, откуда достала.

– Та совсем дикарка – странная такая у меня. Бог знает в кого уродилась! – серьезно заметила Татьяна Марковна и вздохнула. – Не надоедай же пустяками брату, – обратилась она к Марфеньке, – он устал с дороги, а ты глупости ему показываешь. Дай лучше нам поговорить о серьезном, об имении.

Все время, пока Борис занят был с Марфенькой, бабушка задумчиво глядела на него, опять припоминала в нем черты матери, но заметила и перемены: убегающую молодость, признаки зрелости, ранние морщины и странный, непонятный ей взгляд, «мудреное» выражение. Прежде, бывало, она так и читала у него на лице, а теперь там было написано много такого, чего она разобрать не могла.

А у него было тепло и светло на душе. Его осенила тихая задумчивость, навеянная этими картинами и этой встречей.

«Пусть так и останется: светло и просто!» – пожелал он мысленно.

«Постараюсь ослепнуть умом, хоть на каникулы, и быть счастливым! Только ощущать жизнь, а не смотреть в нее, или смотреть затем только, чтобы срисовать сюжеты, не дотрогиваясь до них разъедающим, как укус, анализом... А то горе! Будем же смотреть, что за сюжеты Бог дал мне? Марфенька, бабушка, Верочка – на что они годятся: в роман, в драму или только в идиллию?»

II

Он зевнул широко, и, когда очнулся от задумчивости, перед ним бабушка стоит со счетами, с прихода-расходной тетрадью, с деловым выражением в лице.

– Не устал ли ты с дороги? Может быть, уснуть хочешь: вон ты зеваешь? – спросила она, – тогда оставим до утра.

– Нет, бабушка, я только и делал, что спал! Это нервическая зевота. А вы напрасно беспокоитесь: я счетов смотреть не стану...

– Как не станешь? Зачем же ты приехал, как не принять имение, не потребовать отчета!..

– Какое имение! – небрежно сказал Райский.

– Какое имение: вот посмотри, сколько тягл, земли? вот года четыре назад прикуплено, – видишь, сто двадцать четыре десятины. Вот из них под выгон отдаются...

– Право? – машинально спросил Райский, – вы прикупили?

– Не я, а ты! Не ты ли мне доверенность прислал на покупку?

– Нет, бабушка, не я. Помню, что какие-то бумаги вы присылали мне, я их передал приятелю своему, Ивану Ивановичу, а тот...

– Ты же подписал: гляди, вот копия! – показала она.

– Может быть, я и подписал, – сказал он, не глядя, – только не помню и не знаю что.

– О чем же ты помнишь? Ведь ты читал мои счета, ведомости, что я посылала к тебе?

– Нет, бабушка, не читал.

– Как же, там все показано, куда поступали твои доходы, – ты видел?

– Нет, не видал.

– Стало быть, ты не знаешь, куда я твои деньги тратила?

– Не знаю, бабушка, да и не желаю знать! – отвечал он, приглядываясь из окна к знакомой ему дали, к синему небу, к меловым горам за Волгой. – Представь, Марфенька: я еще помню стихи Дмитриева, что в детстве учил:

О Волга, пышна, величава,
Прости, но прежде удостой
Склонить свое вниманье к лире
Певца, незнаемого в мире,
Но воспоенного тобой...

– Ты, Борюшка, прости меня: а ты, кажется, полоумный! – сказала бабушка.

– Может быть, бабушка, – равнодушно согласился он.

– Куда же ты девал ведомости об имении, что я посылала тебе! С тобой они?

Он покачал отрицательно головою.

– Где же они?

– Какие ведомости, бабушка: ей-богу, не знаю.

– Ведомости о крестьянах, об оброке, о продаже хлеба, об отдаче огородов... Помнишь ли, сколько за последние года дохода было? По тысяче четыреста двадцати пяти рублей – вот смотри... – Она хотела щелкнуть на счетах. – Ведь ты получал деньги? Последний раз тебе послано было пятьсот пятьдесят рублей ассигнациями: ты тогда писал, чтобы не посылать. Я и клала в приказ: там у тебя...

– Что мне до этого за дело, бабушка! – с нетерпением сказал он.

– Кому же дело? – с изумлением спросила она, – ты этак не думаешь ли, что я твоими деньгами пользовалась? Смотри, вот здесь отмечена всякая копейка. Гляди... – Она ему совала большую шнуровую тетрадь.

– Бабушка! я рвал все счета и эти, ей-богу, разорву, если вы будете приставать с ними ко мне.

Он взял было счета, но она быстро вырвала их у него.

– Разорвешь: как ты смеешь? – вспыхливо сказала она. – Рвал счета!

Он засмеялся и внезапно обнял ее и поцеловал в губы, как, бывало, делывал мальчиком. Она вырвалась от него и вытерла рот.

– Я тут тружусь, сию иногда за полночь, пишу, считаю каждую копейку: а он рвал! То-то ты ни слова мне о деньгах, никакого приказа, распоряжения, ничего! Что же ты думал об имении?

– Ничего, бабушка. Я даже забывал, есть ли оно, нет ли. А если припоминал, так вот эти самые комнаты, потому что в них живет единственная женщина в мире, которая любит меня и которую я люблю... Зато только ее одну и больше никого... Да вот теперь полюблю сестер, – весело оборотился он, взяв руку Марфеньки и целуя ее, – все полюблю здесь – до последнего котенка!

– Отроду не видывала такого человека! – сказала бабушка, сняв очки и поглядев на него. – Вот только Маркушка у нас бездомный такой...

– Какой это Маркушка? Мне что-то Леонтий писал... Что Леонтий, бабушка, как поживает? Я пойду к нему...

– Что ему делается? сидит над книгами, воззрится в одно место, и не оттащишь его! Супруга воззрится в другое место... он и не видит, что под носом делается. Вот теперь с Маркушкой подружился: будет прок! Уж он приходил, жаловался, что тот книги, что ли, твои растаскал...

– Bu-ona sera! bu-ona sera!⁷⁴ – напевал Райский из «Севильского цирюльника».

– Станный, необыкновенный ты человек! – говорила с досадой бабушка. – Зачем приехал сюда: говори толком!

– Видеть вас, пожить, отдохнуть, посмотреть на Волгу, пописать, порисовать...

– А имение? Вот тебе и работа: пиши! Коли не устал, поедem в поле, озимь посмотреть.

– После, после, бабушка. – Ти, ти, ти, та, та, та, ля, ля, ля... – выделял он тщательно опять мотив из «Севильского цирюльника».

– Полно тебе: ти, ти, ти, ля, ля, ля! – передразнила она. – Хочешь смотреть и принимать имение?

– Нет, бабушка, не хочу!

– Кто же будет смотреть за ним: я стара, мне не углядеть, не управиться. Я возьму да и брошу: что тогда будешь делать!..

– Ничего не буду делать; махну рукой, да и уеду...

– Не прикажешь ли отдать в чужие руки?

– Нет, пока у вас есть охота – посмотрите, поживите.

– А когда умру?

– Тогда... оставить как есть.

– А мужики: пусть делают, что хотят?

Он кивнул головой.

– Я думал, что они и теперь делают, что хотят. Их отпустить бы на волю... – сказал он.

– На волю: около пятидесяти душ, на волю! – повторила она, – и даром, ничего с них не взять?

⁷⁴ Добрый вечер! добрый вечер! (ит.)

– Ничего!

– Чем же ты станешь жить?

– Они наймут у меня землю, будут платить мне что-нибудь.

– Что-нибудь: из милости, что вздумается! Ну, Борюшка!

Она взглянула на портрет матери Райского. Долго глядела она на ее томные глаза, на задумчивую улыбку.

– Да, – сказала потом вполголоса, – не тем будь помянута покойница, а она виновата! Она тебя держала при себе, шептала что-то, играла на клавесине да над книжками плакала. Вот что и вышло: петь да рисовать!

– Что же с домом делать? Куда серебро, белье, брильянты, посуду девать? – спросила она, помолчав. – Мужикам, что ли, отдать?

– А разве у меня есть брильянты и серебро!.. – спросил он.

– Сколько я тебе лет твержу! От матери осталось: куда оно денется? На вот, стой, я тебе реестры покажу...

– Не надо, ради Бога, не надо: мое, мое, верю. Стало быть, я вправе распорядиться этим по своему усмотрению?

– Ты хозяин, так как же не вправе? Гони нас вон: мы у тебя в гостях живем – только хлеба твоего не едим, извини... Вот, гляди, мои доходы, а вот расходы...

Она совала ему другие большие шнуровые тетради, но он устранил их рукой.

– Верю, верю, бабушка! Ну так вот что: пошлите за чиновником в палату и велите написать бумагу: дом, вещи, землю, все уступаю я милым моим сестрам, Верочке и Марфеньке, в приданое...

Бабушка сильно нахмурилась и с нетерпением ждала конца речи, чтобы разразиться.

– Но пока вы живы, – продолжал он, – все должно оставаться в вашем непосредственном владении и заведовании. А мужиков отпустить на волю...

– Не бывать этому! – пылко воскликнула Бережкова. – Они не нищие, у них по пятидесяти тысяч у каждой. Да после бабушки втрое, а может быть, и побольше останется: это все им! Не бывать, не бывать! И бабушка твоя, слава Богу, не нищая! У ней найдется угол, есть и клочок земли, и крышка, где спрятаться! Богач какой, гордец, в дар жалует! Не хотим, не хотим! Марфенька! Где ты? Иди сюда!

– Здесь, здесь, сейчас! – отозвался звонкий голос Марфеньки из другой комнаты, куда она вышла, и она впорхнула, веселая, живая, резвая с улыбкой, и вдруг остановилась. Она глядела то на бабушку, то на Райского, в недоумении. Бабушка сильно расходилась.

– Вот слышишь: братец тебе жаловать изволит дом, и серебро, и кружева. Ты ведь бесприданница, нищенка! Приседай же ниже, благодари благодетеля, поцелуй у него ручку. Что же ты?

Марфенька прижалась к печке и глядела на обоих, не зная, что ей сказать.

Бабушка отодвинула от себя все книги, счета, гордо сложила руки на груди и стала смотреть в окно. А Райский сел возле Марфеньки, взял ее за руки.

– Скажи, Марфенька, ты бы хотела переехать отсюда в другой дом, – спросил он, – может быть, в другой город?

– Ах, сохрани Боже: как это можно! Кто это выдумал такую нелепость!..

– Вон кто, бабушка! – сказал Райский, смеясь.

Марфенька сконфузилась, а бабушка, к счастью, не слыхала. Она сердито глядела в окно.

– Ведь у меня тут все: сад и грядки, цветы... А птицы? Кто же будет ходить за ними? Как можно – ни за что...

– Ну, вот бабушка хочет уехать и увезти вас обеих.

– Бабушка, душенька, куда? Зачем? Что это вы затеяли? – бросилась она ласкаться к бабушке.

– Отстань! – сердито оттолкнула ее бабушка.

– Ты не хотела бы, Марфенька, не правда ли, выпорхнуть из этого гнездышка?

– Нет, ни за что! – качая головой, решительно сказала она. – Бросить цветник, мои комнатки... как это можно!

– И Верочка тоже?

– Она еще пуще меня: она ни за что не расстанется с старым домом...

– Она любит его?

– Она там и живет, там ей только и хорошо. Она умрет, если ее увезут, – мы обе умрем.

– Ну, так вы никогда не уедете отсюда, – прибавил Райский, – вы обе здесь выйдете замуж, ты, Марфенька, будешь жить в этом доме, а Верочка в старом.

– Слава Богу: зачем же пугаете? А вы где сами станете жить?

– Я жить не стану, а когда приеду погостить, вот как теперь, вы мне дайте комнату в мезонине – и мы будем вместе гулять, петь, рисовать цветы, кормить птиц: ти, ти, ти, цып, цып, цып! – передразнил он ее.

– Ах, вы злой! – сказала она. – Я думала, вы не успели даже разглядеть меня, а вы все подслушали!

– Ну, так это дело решенное: вы с Верочкой принимаете от меня в подарок все это, да?

– Да... братец... – весело сказала она и потянулась было к нему.

– Не смей! – горячо остановила бабушка, до тех пор сердито молчавшая.

Марфенька села на свое место.

– Бесстыдница! – укоряла она Марфеньку. – Где ты выучилась от чужих подарки принимать? Кажется, бабушка не тому учила; век свой чужой копеечкой не поживилась... А ты не успела и двух слов сказать с ним и уж подарки принимаешь. Стыдно, стыдно! Верочка ни за что бы у меня не приняла: та – гордая!

Марфенька надулась.

– Сами же давеча... сказали, – говорила она сердито, – что он нам не чужой, а брат, и велели поцеловаться с ним; а брат может все подарить.

– Это логично! Против этого спорить нельзя, – одобрял Райский. – Итак, решено: это все ваше, я у вас гость...

– Не бери! – повелительно сказала бабушка. – Скажи: не хочу, не надо, мы не нищие, у нас у самих есть имение.

– Не хочу, братец, не надо... – начала она с иронией повторять и засмеялась. – Не надо так не надо! – прибавила она и вздохнула, лукаво поглядывая на него.

– Да уж ничего этого не будет там у вас, в бабушкином имении, – продолжал Райский. – Посмотри! Какой ковер вокруг дома! Без садика что за житье?

– Я садик возьму! – шепнула она, – только бабушке не го-во-ри-те... – досказала она движениями губ, без слов.

– А кружева, белье, серебро? – говорил он вполголоса.

– Не надо! Кружева у меня есть свои, и серебро тоже! Да я люблю деревянной ложкой есть... У нас всё по-деревенски.

– А эти саксонские чашки, эти пузатые чайники? Таких теперь не делают. Ужели не возьмешь?

– Чашки возьму, – шептала она, – и чайники, еще вон этот диванчик возьму и маленькие кресельца, да эту скатерть, где вышита Диана с собаками. Еще бы мне хотелось взять мою комнатку... – со вздохом прибавила она.

– Ну, весь дом – пожалуйста, Марфенька, милая сестра...

Марфенька поглядела на бабушку, потом, украдкой, утвердительно кивнула ему.

– Ты любишь меня? да?

– Ах, очень! Как вы писали, что приедете, я всякую ночь вижу вас во сне, только совсем не таким...

– Каким же?

– Таким румяным, не задумчивым, а веселым; вы будто все шалите да бегаете...

– Я ведь такой иногда бываю.

Она недоверчиво покосилась на него и покачала головой.

– Так возьмешь домик? – спросил он.

– Возьму, только чтоб и Верочка старый дом согласилась взять. А то одной стыдно: бабушка браниться станет.

– Ну, вот и кончено! – громко и весело сказал он, – милая сестра! Ты не гордая, не в бабушку!

Он поцеловал ее в лоб.

– Что кончено? – вдруг спросила бабушка. – Ты приняла? Кто тебе позволил? Коли у самой стыда нет, так бабушка не допустит на чужой счет жить. Извольте, Борис Павлович, принять книги, счета, реестры и все крепости на имение. Я вам не приказчица досталась.

Она выложила перед ним бумаги и книги.

– Вот четыреста шестьдесят три рубля денег – это ваши. В марте мужики принесли за хлеб. Тут по счетам увидите, сколько внесено в приказ, сколько отдано за постройку и починку служб, за новый забор, жалованье Савелью – все есть.

– Бабушка!

– Бабушки нет, а есть Татьяна Марковна Бережкова. Позвать сюда Савелья! – сказала она, отворив дверь в девичью.

Через четверть часа вошел в комнату, боком, пожилой, лет сорока пяти мужик, сложенный плотно, будто из одних широких костей, и оттого казавшийся толстым, хотя жиру у него не было ни золотника.

Он был мрачен лицом, с нависшими бровями, широкими веками, которые поднимал медленно, и даром не тратил ни взглядов, ни слов. Даже движений почти не делал. От одного разговора на другой он тоже переходил трудно и медленно.

Мысленная работа совершается у него тяжело: когда он старается выговорить свою мысль, то помогает себе бровями, складками на лбу и отчасти указательным пальцем.

Он острижен в скобку, бороду бреет редко, и у него на губах и на подбородке почти всегда торчит щетина.

– Вот помещик приехал! – сказала бабушка, указывая на Райского, который наблюдал, как Савелий вошел, как медленно поклонился, медленно поднял глаза на бабушку, потом, когда она указала на Райского, то на него, как медленно поворотился к нему и задумчиво поклонился.

– Ты теперь приходи к нему с докладом, – говорила бабушка, – он сам будет управлять имением.

Савелий опять оборотился вполтину к Райскому и исподлобья, но немного поживее, поглядел на него.

– Слушаю! – расстановочно произнес он, и брови поднялись медленно.

– Бабушка! – удерживал полушутя, полусерьезно Райский.

– Внучек! – холодно отозвалась она.

Райский вздохнул.

– Что изволите приказать? – тихо спросил Савелий, не поднимая глаз. Райский молчал и думал, что бы приказать ему.

– Чудесно! Вот что, – живо сказал он. – Ты знаешь какого-нибудь чиновника в палате, который бы мог написать бумагу о передаче имения?

– Гаврила Иванович Мешечников пишет все бумаги нам, – произнес он не вдруг, а подумавши.

– Ну, так попроси его сюда!

– Слушаю! – потупившись, отвечал Савелий и, медленно, задумчиво поворотившись, пошел вон.

– Какой задумчивый этот Савелий! – сказал Райский, провожая его глазами.

– Будешь задумчив, как навяжется такая супруга, как Марина Антиповна! Помнишь Антипа? ну, так его дочка! А золото-мужик, большие у меня дела делает: хлеб продает, деньги получает, – честный, распорядительный, да вот где-нибудь да подстережет судьба! У всякого свой крест! А ты что это затеял, или в самом деле с ума сошел? – спросила бабушка, помолчав.

– Ведь это мое? – сказал он, обводя рукой кругом себя, – вы не хотите ничего брать и запрещаете внукам...

– Ну, пусть и будет твое! – возразила она. – Зачем же отпускать на волю, дарить?

– Надо же что-нибудь делать! Я уеду отсюда, вы управлять не хотите: надо устроить...

– Зачем уезжать: я думала, что ты совсем приехал. Будет тебе мыкаться! Женись и живи.

А то хорошо устройство: отдать тысяч на тридцать всякого добра!

Она беспокойно задумалась и, очевидно, боролась с собой. Ей бы и в голову никогда не пришло устранить от себя управление имением, и не хотела она этого. Она бы не знала, что делать с собой. Она хотела только поугадать Райского – и вдруг он принял это серьезно.

«Пожалуй, чего доброго, от него станется: вон он какой!» – думала она в страхе.

– Так и быть, – сказала она, – я буду управлять, пока силы есть. А то, пожалуй, дядюшка так управит, что под опеку попадешь! Да чем ты станешь жить? Станный ты человек!

– Мне с того имения присылают деньги: тысячи две серебром – и довольно. Да я работать стану, – добавил он, – рисовать, писать... Вот собираюсь за границу пожить: для этого то имение заложу или продам...

– Бог с тобой, что ты, Борюшка! Долго ли этак до суммы дойти! Рисовать, писать, имение продать! Не будешь ли по урокам бегать, школьников учить? Эх, ты! из офицеров вышел, вон теперь в короткохвостом сертучишке ходишь! Вместо того, чтобы четверкой в дормезе прикатить, притащился на перекладной, один, без лакея, чуть не пешком пришел! А еще Райский! Загляни в старый дом, на предков: постыдись хоть их! Срам, Борюшка! То ли бы дело, с такими эполетами, как у дяди Сергея Ивановича, приехал: с тремя тысячами душ взял бы...

Райский засмеялся.

– Что смеешься! Я дело говорю. Какая бы радость бабушке! Тогда бы не стал дарить кружев да серебра: понадобилось бы самому...

– Ну, а как я не женюсь, и кружев не надо, то решено, что это все Верочке и Марфеньке отдадим... Так или нет?

– Ты опять свое! – заговорила бабушка.

– Да, свое, – продолжал Райский, – и если вы не согласитесь, я отдам все в чужие руки: это кончено, даю вам слово...

– Вот – и слово дал! – беспокойно сказала бабушка. Она колебалась. – Имение отдает! Станный, необыкновенный человек! – повторяла она, – совсем пропащий! Да как ты жил, что делал, скажи на милость! Кто ты на сем свете есть? Все люди как люди. А ты – кто! Вон еще и бороду отпустил – сбрей, сбрей, не люблю!

– Кто я, бабушка? – повторил он вслух, – несчастнейший из смертных!

Он задумался и прилег головой к подушке дивана.

– Не говори этого никогда! – боязливо перебила бабушка, – судьба подслушает, да и накажет: будешь в самом деле несчастный! Всегда будь доволен или показывай, что доволен.

Она даже боязливо оглянулась, как будто судьба стояла у нее за плечами.

– Несчастный! а чем, позволь спросить? – заговорила она, – здоров, умен, имение есть, слава Богу, вон какое! – Она показала головой в окна. – Чего еще: рожна, что ли, надо?

Марфенька засмеялась, и Райский с нею.

– Что это значит, рожон?

– А то, что человек не чувствует счастья, коли нет рожна, – сказала она, глядя на него через очки. – Надо его ударить бревном по голове, тогда он и узнает, что счастье было, и какое оно плохонькое ни есть, а все лучше бревна.

«Вот что практическая мудрость!» – подумал он.

– Бабушка! это жизненная заметка – это правда! вы философ!

– Вот ты и умный, и ученый, а не знал этого!

– Помиримтесь? – сказал он, вставши с дивана, – вы согласились опять взять в руки этот клочок...

– Имение, а не клочок! – перебила она.

– Согласитесь же отдать всю ветошь и хлам этим милым девочкам... Я бобыль, мне не надо, а они будут хозяйками. Не хотите, отдадим на школы...

– Школьникам! Не бывать этому! Чтобы этим озорникам досталось! Сколько они одних яблоков перетаскивают у нас через забор!

– Берите скорей, бабушка! Ужели вы на старости лет бросите это гнездо!..

– Ветошь, хлам! Тысяч на десять серебра, белья, хрусталя – ветошь! – твердила бабушка.

– Бабушка, – просила Марфенька, – мне цветничок и садик, да мою зеленую комнату, да вот эти саксонские чашки с пастушком, да салфетку с Дианой...

– Замолчишь ли ты, бесстыдница! Скажут, что уж попрошайки, обобрали сироту!

– Кто скажет? – спросил Райский.

– Все! Первый Нил Андреич заголосит.

– Какой Нил Андреич?

– А помнишь: председатель в палате? Мы с тобой заезжали к нему, когда ты после гимназии приехал сюда, – и не застали. А потом он в деревню уехал: ты его и не видал. Тебе надо съездить к нему: его все уважают и боятся, даром что он в отставке...

– Черт с ним! Что мне за дело до него! – сказал Райский.

– Ах, Борис, Борис, – опомнись! – сказала почти набожно бабушка. – Человек почтенный...

– Чем же он почтенный?

– Старый, серьезный человек, со звездой!

Райский засмеялся.

– Чему смеешься?

– Что значит «серьезный»? – спросил он.

– Говорит умно, учит жить, не запоеет: ти, ти, да та, та, та. Строгий: за дурное осудит! Вот что значит серьезный.

– Все эти «серьезные» люди – или ослы великие, или лицемеры! – заметил Райский. – «Учит жить»: а сам он умеет ли жить?

– Еще бы не умел! нажил богатство, вышел в люди...

– Иной думает у нас, что вышел в люди, а в самом-то деле он вышел в свиньи...

Марфенька засмеялась.

– Не люблю, не люблю, когда ты так дерзко говоришь! – гневно возразила бабушка. – Ты во что сам вышел, сударь: ни Богу свеча, ни черту кочерга! А Нил Андреич все-таки почтенный человек, что ни говори: узнает, что ты так небрежно имением распоряжаешься – осудит! И меня осудит, если я соглашусь взять: ты сирота...

– Вы мне когда-то говорили, что он племянницу обобрал, в казне воровал, – и он же осудит...

– Помолчи, помолчи об этом, – торопливо отозвалась бабушка, – помни правило: «Язык мой – враг мой, прежде ума моего родился!»

– Разве я маленький, что не вправе отдать кому хочу, еще и родственникам? Мне самому не надо, – продолжал он, – стало быть, отдать им – и разумно и справедливо.

– А если ты женишься?

– Я не женюсь.

– Почему знать? Какая-нибудь встреча... вон здесь есть богатая невеста... Я писала тебе...

– Мне не надо богатства!

– Не надо богатства: что городит! Жену ведь надо?

– И жену не надо.

– Как не надо? Как же ты проживешь? – спросила она недоверчиво.

Он засмеялся и ничего не сказал.

– Пора, Борис Павлович, – сказала она, – вон в виске седина показывается. Хочешь, посватаю? А какая красавица, как воспитана!

– Нет, бабушка, не хочу!

– Я не шучу, – заметила она, – у меня давно было в голове.

– И я не шучу, у меня никогда в голове не было.

– Ты хоть познакомься!

– И знакомиться не стану.

– Женитесь, братец, – вмешалась Марфенька, – я бы стала нянчить детей у вас... я так люблю играть с ними.

– А ты, Марфенька, думаешь выйти замуж?

Она покраснела.

– Скажи мне правду, на ухо, – говорил он.

– Да... иногда думаю.

– Когда же иногда?

– Когда детей вижу: я их больше всего люблю...

Райский засмеялся, взял ее за обе руки и прямо смотрел ей в глаза. Она покраснела, ворочалась то в одну, то в другую сторону, стараясь не смотреть на него.

– Ты послушай только: она тебе наговорит! – приговаривала бабушка, вслушавшись и убирая счеты. – Точно дитя: что на уме, то и на языке!

– Я очень люблю детей, – оправдывалась она, смущенная, – мне завидно глядеть на Надежду Никитишну: у ней семь человек... Куда ни обернись, везде дети. Как это весело! Мне бы хотелось побольше маленьких братьев и сестер или хоть чужих деточек. Я бы и птиц бросила, и цветы, музыку, все бы за ними ходила. Один шалит, его в угол надо поставить, тот просит каши, этот кричит, третий дерется; тому оспочку надо привить, тому ушки прони-мать, а этого надо учить ходить... Что может быть веселее! Дети – такие милые, грациозные от природы, смешные, добрые, хорошенькие!

– Есть и безобразные, – сказал Райский, – разве ты и их любила бы!..

– Есть больные, – строго заметила Марфенька, – а безобразных нет! Ребенок не может быть безобразен. Он еще не испорчен ничем.

Все это говорила она с жаром, почти страстно, так что ее грациозная грудь волновалась под кисеей, как будто просилась на простор.

– Какой идеал жены и матери! Милая Марфенька – сестра! Как счастлив будет муж твой!

Она стыдливо села в угол.

– Она все с детьми: когда они тут, ее не отгонишь, – заметила бабушка, – поднимут шум, гам, хоть вон беги!

– А есть у тебя кто-нибудь на примете, – продолжал Райский, – жених какой-нибудь!..

– Что это ты, мой батюшка, опомнись? Как она без бабушкина спроса будет о замужестве мечтать?

– Как, и мечтать не может без спроса?

– Конечно, не может.

– Ведь это ее дело.

– Нет, не ее, а пока бабушкино, – заметила Татьяна Марковна. – Пока я жива, она из повиновения не выйдет.

– Зачем это вам, бабушка?

– Что зачем?

– Такое повиновение: чтоб Марфенька даже полюбить без вашего позволения не смела?

– Выйдет замуж, тогда и полюбит.

– Как «выйдет замуж и полюбит»: полюбит и выйдет замуж, хотите вы сказать?

– Хорошо, хорошо, это у вас там так, – говорила бабушка, замахав рукой, – а мы здесь прежде осмотрим, узнаем, что за человек, пуд соли съедим с ним, тогда и отдаем за него.

– Так у вас еще не выходят девушки, а отдают их – бабушка! Есть ли смысл в этом...

– Ты, Борюшка, пожалуйста, не учи их этим своим идеям!.. Вон, покойница мать твоя была такая же... да и сошла прежде времени в могилу!

Она вздохнула и задумалась.

«Нет, это все надо переделать! – сказал он про себя... – Не дают свободы – любить. Какая грубость! А ведь добрые, нежные люди! Какой еще туман, какое затмение в их головах!»

– Марфенька! Я тебя просвещу! – обратился он к ней. – Видите ли, бабушка: этот домик, со всем, что здесь есть, как будто для Марфеньки выстроен, – сказал Райский, – только детские надо надстроить. Люби, Марфенька, не бойся бабушки. А вы, бабушка, мешаєте принять подарок!

– Ну, добро, посмотрим, посмотрим, – сказала она, – если не женишься сам, так как хочешь, на свадьбу подари им кружева, что ли: только чтобы никто не знал, пуще всего Нил Андреич... надо втихомолку...

– Свободный, разумный и справедливый поступок – втихомолку! Долго ли мы будем жить, как совы, бояться света дневного, слушать совиную мудрость Нилов Андреевичей!..

– Шш! шш! – зашипела бабушка, – услышал бы он! Человек он старый, заслуженный, а главное, серьезный! Мне не сговорить с тобой – поговори с Титом Никонычем. Он обедать придет, – прибавила Татьяна Марковна.

«Странный, необыкновенный человек! – думала она. – Все ему нипочем, ничего в грош не ставит! Имение отдает, серьезные люди у него – дураки, себя несчастным называет! Погляжу еще, что будет!»

III

Райский взял фуражку и собрался идти в сад. Марфенька вызвалась показать ему все хозяйство: и свой садик, и большой сад, и огород, цветник, беседки.

– Только в лес боюсь; я не хожу с обрыва, там страшно, глухо! – говорила она. – Верочка приедет, она проводит вас туда.

Она надела на голову косынку, взяла зонтик и летала по грядкам и цветам, как сальф, блестя красками здоровья, веселостью серо-голубых глаз и летним нарядом из прозрачных тканей. Вся она казалась сама какой-то радугой из этих цветов, лучей, тепла и красок весны.

Борис видел все это у себя в уме и видел себя, задумчивого, тяжелого. Ему казалось, что он портит картину, для которой ему тоже нужно быть молодому, бодрому, живому, с такими же, как у ней, налитыми жизненной влагой глазами, с такой же резвостью движений.

Ему хотелось бы рисовать ее бескорыстно, как артисту, без себя, вот как бы нарисовал он, например, бабушку. Фантазия услужливо рисовала ее во всей старческой красоте: и выходила живая фигура, которую он наблюдал покойно, объективно.

А с Марфенькой это не удавалось. И сад, казалось ему, хорош оттого, что она тут. Марфенька реяла около него, осматривала клумбы, поднимала головку то у того, то у другого цветка.

– Вот этот розан вчера еще почкой был, а теперь посмотрите, как распустился, – говорила она, с торжеством показывая ему цветок.

– Как ты сама! – сказал он.

– Ну, уж хороша роза!

– Ты лучше ее!

– Понюхайте, как она пахнет!

Он нюхал цветок и шел за ней.

– А вот эти маргаритки надо полить и пионы тоже! – говорила она опять, и уже была в другом углу сада, черпала воду из бочки и с грациозным усилием несла лейку, поливала кусты и зорко осматривала, не надо ли полить другие.

– А в Петербурге еще и сирени не зацвели, – сказал он.

– Ужели? А у нас уж отцвели, теперь акации начинают цвести. Для меня праздник, когда липы зацветут, – какой запах!

– Сколько здесь птиц! – сказал он, вслушиваясь в веселое щебетанье на деревьях.

– У нас и соловьи есть – вон там в роще! И мои птички все здесь пойманы, – говорила она. – А вот тут в огороде мои грядки: я сама работаю. Подальше – там арбузы, дыни, вот тут цветная капуста, артишоки...

– Пойдем, Марфенька, к обрыву, на Волгу смотреть.

– Пойдемте, только я близко не пойду, боюсь. У меня голова кружится. И не охотница я до этого места! Я недолго с вами пробуду! Бабушка велела об обеде позаботиться. Ведь я хозяйка здесь! У меня ключи от серебра, от кладовой. Я вам велю достать вишневого варенья: это ваше любимое, Василиса сказывала.

Он улыбкой поблагодарил ее.

– А что к обеду? – спросила она. – Бабушка намерена угостить вас на славу.

– Ведь я обедал. Разве к ужину?

– До ужина еще полдник будет: за чаем простоквашу подают; что лучше вы любите, творог со сливками... или...

– Да, я люблю творог... – рассеянно отвечал Райский.

– Или простоквашу?

– Да, хорошо простоквашу...

– Что же лучше? – спросила она и, не слыша ответа, обернулась посмотреть, что его занимает. А он пристально следил, как она, переступая через канавку, приподняла край платья и вышитой юбки и как из-под платья вытягивалась кругленькая, точно выточенная, и крепкая небольшая нога, в белом чулке, с коротеньким, будто обрубленным носком, обутая в лакированный башмак, с красной сафьянной отделкой и с пряжкой.

– Ты любишь щеголять, Марфенька: лакированный башмак! – сказал он.

Он думал, что она смутится, пойманная врасплох, приготовился наслаждаться ее смущением, смотреть, как она быстро и стыдливо бросит из рук платье и юбку.

– Это мы с бабушкой на ярмарке купили, – сказала она, приподняв еще немного юбку, чтоб он лучше мог разглядеть башмак. – А у Верочки лиловые, – прибавила она. – Она любит этот цвет. Что же вам к обеду: вы еще не сказали?

Но он не слушал ее. «Милое дитя! – думал он, – тебе не надо притворяться стыдливой!»

– Я не хочу есть, Марфенька. Дай руку, пойдем к Волге.

Он прижал ее руку к груди и чувствовал, как у него бьется сердце, чуя близость... чего? наивного, милого ребенка, доброй сестры или... молодой, расцветшей красоты? Он боялся, станет ли его на то, чтоб наблюдать ее, как артисту, а не отдаться, по обыкновению, легкому впечатлению?

У него перед глазами был идеал простой, чистой натуры, и в душе созидался образ какого-то тихого, семейного романа, и в то же время он чувствовал, что роман понемногу захватывал и его самого, что ему хорошо, тепло, что окружающая жизнь как будто втягивает его...

– Ты поешь, Марфенька? – спросил он.

– Да... немножко, – застенчиво отвечала она.

– Что же?

– Русские романсы; начала итальянскую музыку, да учитель уехал. Я пою: «Una voce raso fa»,⁷⁵ только трудно очень для меня. А вы поете?

– Диким голосом, но зато беспрестанно.

– Что же?

– Все. – И он запел из «Ломбардов», потом марш из «Семирамиды» и вдруг замолк.

Он взглядывал близко ей в глаза, жал руку и соразмерял свой шаг с ее шагом.

«Ничего больше не надо для счастья, – думал он, – умей только остановиться вовремя, не заглядывать вдаль. Так бы сделал другой на моем месте. Здесь все есть для тихого счастья – но... это не мое счастье!» Он вздохнул. «Глаза привыкнут... воображение устанет, – и впечатление износится... иллюзия лопнет, как мыльный пузырь, едва разбудив нервы!..»

Он выпустил ее руку и задумался.

– Что ж вы молчите? – спросила она. – «Ничего не говорит!» – про себя прибавила потом.

– Ты любишь читать... читаешь, Марфенька? – спросил он, очнувшись.

– Да, когда соскучусь, читаю.

– Что же?

– Что попадетсЯ: Тит Никоныч журналы носит, повести читаю. Иногда у Верочки возьму французскую книгу какую-нибудь. «Елену» недавно читала мисс Эджеворт, еще «Джен Эйр»... Это очень хорошо... Я две ночи не спала: все читала, не могла оторваться.

– Что тебе больше нравится? Какой род чтения?

Она подумала немного, очевидно затрудняясь определить род.

– Да вы смеяться будете, как давеча над гусенком... – сказала она, не решаясь говорить.

⁷⁵ «В полуночной тишине» (ит.).

– Нет, нет, Марфенька: смеяться над такой милой, хорошенькой сестрой! Ведь ты хорошенькая?

– Ну, что за хорошенькая! – небрежно сказала она, – толстая, белая! Вот Верочка так хорошенькая, прелесть!

– Что же ты любишь читать? Поэзию читаешь: стихи?

– Да, Жуковского, Пушкина, недавно «Мазепу» прочла.

– Что же, нравится?

Она отрицательно покачала головой.

– Отчего?

– Жалко Марию. Вот «Гулливеровы путешествия» нашла у вас в библиотеке и оставила у себя. Я их раз семь прочла. Забуду немного и опять прочту. Еще «Кота Мура», «Братья Серапионы», «Песочный человек»: это больше всего люблю.

– Какие же тебе книжки еще нравятся? Читала ли ты серьезное что-нибудь?

– Серьезное? – повторила она, и лицо у ней вдруг серьезно сморщилось немного. – Да, вон у меня из ваших книг остались некоторые, да я их не могу одолеть...

– Какие же?

– Шатобриана – «Les Martyrs»⁷⁶... Это уже очень высоко для меня!

– Ну, а историю?

– Леонтий Иванович давал – Мишле, «Precis de l'histoire moderne»,⁷⁷ потом Римскую историю, кажется, Жибона...

– То есть Гиббона: что же?

– Я не дочитала... слишком величественно! Это надо только учителям читать, чтоб учить...

– Ну, романы читаешь?

– Да... только такие, где кончается свадьбой.

Он засмеялся, и она за ним.

– Это глупо? да? – спросила она.

– Нет, мило. В тебе глупого не может быть.

– Я всегда прежде посмотрю, – продолжала она смелее, – и если печальный конец в книге – я не стану читать. Вон «Басурмана» начала, да Верочка сказала, что жениха казнили, я и бросила.

– Стало быть, ты и «Горя от ума» не любишь? Там не свадьбой кончается.

Она потрясла головой.

– Софья Павловна гадкая, – заметила она, – а Чацкого жаль: пострадал за то, что умнее всех!

Он с улыбкой вслушивался в ее литературный лепет и с возрастающим наслаждением вглядывался ей в глаза, в беленькие тесные зубы, когда она смеялась.

– Мы будем вместе читать, – сказал он, – у тебя сбивчивые понятия, вкус не развит. Хочешь учиться? Будешь понимать, делать верно критическую оценку.

– Да, только выбирайте книжки, где веселый конец, свадьба...

– И детки чтоб были? – лукаво спросил он, – чтоб одного «кашкой кормили», другому «оспочку прививали»? Да?

– Злой, злой! ничего не стану говорить вам... Вы все замечаете, ничего не пропустите...

– Так ты не выйдешь ни за кого без бабушкина спроса?

⁷⁶ «Мученики» (фр.).

⁷⁷ «Очерки истории нового времени» (фр.).

– Не выйду! – сказала она с твердостью, даже немного хвастливо, что она не в состоянии сделать такого дурного поступка.

– Почему же так?

– А если он картежник, или пьяница, или дома никогда не сидит, или безбожник какой-нибудь, вон как Марк Иваныч... почему я знаю? А бабушка все узнает...

– А Марк Иваныч безбожник?

– Никогда в церковь не ходит.

– Ну, а если этот безбожник или картежник понравится тебе!..

– Все равно, я не выйду за него!

– А если полюбишь ты!..

– Картежника или такого, который смеется над религией, вон как Марк Иваныч: будто это можно? Я с ним не заговорю никогда; как же полюблю?

– Так, что бабушка скажет, так тому и быть?

– Да, она лучше меня знает.

– А когда же ты сама будешь знать и жить?

– Когда... буду в зрелых летах, буду своим домом жить, когда у меня будут свои...

– Дети? – подсказал Райский.

– Свои коровы, лошади, куры, много людей в доме... Да, и дети... – краснея, добавила она.

– А до тех пор все бабушка?

– Да. Она умная, добрая, она все знает. Она лучше всех здесь и в целом свете! – с одушевлением сказала она.

Он замолчал, припоминал Беловодову, разговор с ней, сходство между той и другой, и разные причины этого сходства, и причины несходства.

У него рисовались оба образа и просились во что-то: обе готовые, обе прекрасные – каждая своей красотой, – обе разливали яркий свет на какую-то картину.

Что из этого будет – он не знал, и пока решил написать Марфенькин портрет масляными красками.

Они подошли к обрыву. Марфенька боязливо заглянула вниз и, вздрогнув, попятилась назад.

Райский бросил взгляд на Волгу, забыл все и замер неподвижно, воззрясь в ее задумчивое течение, глядя, как она раскидывается по лугам широкими разливами.

Полноводье еще не сбыло, и река завладела плоским побережьем, а у крутых берегов шумливо и кругами омывали подножия гор. В разных местах, незаметно, будто не двигаясь, плыли суда. Высоко на небе рядами висели облака.

Марфенька подошла к Райскому и смотрела равнодушно на всю картину, к которой привыкла давно.

– Вот эти суда посуду везут, – говорила она, – а это расшивы из Астрахани плывут. А вот, видите, как эти домики окружило водой? Там бурлаки живут. А вон, за этими двумя горками, дорога идет к попадье. Там теперь Верочка. Как там хорошо, на берегу! В июле мы будем ездить на остров, чай пить. Там бездна цветов.

Райский молчал.

– Там зайцы водятся, только теперь их затопило, бедных! У меня кролики есть, я вам покажу!

Он продолжал молчать.

– В конце лета суда с арбузами придут, – продолжала она, – сколько их тут столпится! Мы покупаем только мочить, а к десерту свои есть, крупные, иногда в пуд весом бывают. Прошлый год больше пуда один был, бабушка архиерею отослала.

Райский все смотрел.

«Все молчит!» – шепнула Марфенька про себя.

– Пойдем туда! – вдруг сказал он, показывая на обрыв и взяв ее за руку.

– Ах, нет, нет, боюсь! – говорила она, дрожа и птясь.

– Со мной боишься?

– Боюсь!

– Я тебе не дам упасть. Разве ты не веришь, что я сберегу тебя?

– Верю, да боюсь. Вон Верочка не боится: одна туда ходит, даже в сумерки! Там убийца похоронен, а ей ничего!

– Ну, если б я сказал тебе: «Закрой глаза, дай руку и иди, куда я поведу тебя», – ты бы дала руку? закрыла бы глаза?

– Да... дала бы и глаза бы закрыла, только... одним глазом тихонько бы посмотрела...

– Ну, вот теперь попробуй – закрой глаза, дай руку; ты увидишь, как я тебя сведу осторожно: ты не почувствуешь страха. Давай же, вверься мне, закрой глаза.

Она закрыла глаза, но так, чтоб можно было видеть, и только он взял ее за руку и провел шаг, она вдруг увидела, что он сделал шаг вниз, а она стоит на краю обрыва, вздрогнула и вырвала у него руку.

– Ни за что не пойду, ни за что! – с хохотом и визгом говорила она, вырываясь от него. – Пойдемте, пора домой, бабушка ждет! Что же к обеду? – спрашивала она, – любите ли вы макароны? свежие грибы?

Он ничего не отвечал и любовался ею.

– Какая ты прелесть! Ты цельная, чистая натура! и как ты верна ей, – сказал он, – ты находка для художника! Сама естественность!

Он поцеловал у нее руку.

– Чего-чего не наговорили обо мне! Да куда же вы?

Ответа не было. Она подошла к обрыву шага на два, робко заглянула туда и видела, как с шумом раздавались кусты врозь и как Райский, точно по крупным уступам лестницы, прыгал по горбам и впадинам оврага.

– Страсть какая! – с дрожью сказала она и пошла домой.

IV

Райский обогнул весь город и из глубины оврага поднялся опять на гору, в противоположном конце от своей усадьбы. С вершины холма он стал спускаться в предместье. Весь город лежал перед ним как на ладони.

Он с пристрастным чувством, пробужденным старыми, почти детскими воспоминаниями, смотрел на эту кучу разнохарактерных домов, домиков, лачужек, сбившихся в кучу или разбросанных по высотам и по ямам, ползущих по окраинам оврага, спустившихся на дно его, домиков с балконами, с маркизами, с бельведерами, с пристройками, надстройками, с венецианскими окошками или едва заметными щелями вместо окон, с голубятнями, скворечниками, с пустыми, заросшими травой, дворами. Смотрел на искривленные, бесконечные, идущие между плетнями, переулки, на пустые, без домов, улицы, с громкими надписями: «Московская улица», «Астраханская улица», «Саратовская улица», с базарами, где навалены груды лык, соленой и сушеной рыбы, кадки дегтю и калачи; на зияющие ворота постоянных дворов, с далеко разносящимся запахом навоза, и на бренчащие по улице дрожки.

Было за полдень давно. Над городом лежало оцепенение покоя, штиль на суше, какой бывает на море штиль широкой, степной, сельской и городской русской жизни. Это не город, а кладбище, как все эти города.

Он не то умер, не то уснул или задумался. Растворенные окна зияли, как разверзтые, но не говорящие уста; нет дыхания, не бьется пульс. Куда же убежала жизнь? Где глаза и язык у этого лежащего тела? Все пестро, зелено, и все молчит.

Райский вошел в переулки и улицы: даже ветер не ходит. Пыль, уже третий день нетронутая, одним узором от проехавших колес лежит по улицам; в тени забора отдыхает козел, да куры, вырыв ямки, уселись в них, а неутомимый петух ищет поживы, проворно раскапывая то одной, то другой ногой кучу пыли.

Собаки, свернувшись по три, по четыре, лежат разношерстной кучей на любом дворе, бросаясь, по временам, от праздности, с лаем на редкого прохожего, до которого им никакого дела нет.

Простор и пустота – как в пустыне. Кое-где высунется из окна голова с седой бородой, в красной рубашке, поглядит, зевая, на обе стороны, плюнет и спрячется.

В другое окно, с улицы, увидишь храпящего на кожаном диване человека, в халате: подле него на столике лежат «Ведомости», очки и стоит графин квасу.

Другой сидит по целым часам у ворот, в картузе, и в мирном бездействии смотрит на канаву с крапивой и на забор на противоположной стороне. Давно уж мнет носовой платок в руках – и все не решается высморкаться: лень.

Там кто-то бездействует у окна, с пенковой трубкой, и когда бы кто ни прошел, всегда сидит он – с довольным, ничего не желающим и нескучающим взглядом.

В другом месте видел Райский такую же, сидящую у окна, пожилую женщину, весь век проведенную в своем переулке, без суматохи, без страстей и волнений, без ежедневных встреч с бесконечно разнообразной породой подобных себе, и не ведающую скуки, которую так глубоко и тяжело ведают в больших городах, в центре дел и развлечений.

Райский, идучи из переулка в переулок, видел кое-где семью за трапезой, а там, в мещанском доме, уж подавали самовар.

В безлюдной улице за версту слышно, как разговаривают двое, трое между собой. Звонко раздаются голоса в пустоте и шаги по деревянной мостовой.

Где-то в сарае кучер рубит дрова, тут же поросенок хрюкает в навозе; в низеньком окне, в уровень с землею, отдувается коленкоровая занавеска с бахромой, путаясь в резеде, бархатцах и бальсaminaх.

Там сидит, наклоненная над шитьем, бодрая, хорошенькая головка и шьет прилежно, несмотря на жар и всех одолевающую дремоту. Она одна бодрствует в доме и, может быть, сторожит знакомые шаги...

Из открытых окон одного дома обдало его сотней звонких голосов, которые повторяли азы и делали совершенно лишнюю надпись на дверях: «Школа».

Дальше набрел он на постройку дома, на кучу щепок, стружек, бревен и на кружок расположившихся около огромной деревянной чашки плотников. Большой каравай хлеба, накрошенный в квас лук да кусок красноватой соленой рыбы – был весь обед.

Мужики сидели смирно и молча, по очереди опускали ложки в чашку и опять клали их, жевали, не торопясь, не смеялись и не болтали за обедом, а прилежно, и будто набожно, исполняли трудную работу.

Райскому хотелось нарисовать эту группу усталых, серьезных, буро-желтых, как у ота-итян, лиц, эти черствые, загорелые руки, с негнушимися пальцами, крепко вросшими, будто железными, ногтями, эти широко и мерно растворяющиеся рты и медленно жующие уста, и этот – поглощающий хлеб и кашу – голод.

Да, голод, а не аппетит: у мужиков не бывает аппетита. Аппетит вырабатывается праздностью, моционом и негой, голод – временем и тяжелой работой.

«Однако какая широкая картина тишины и сна! – думал он, оглядываясь вокруг, – как могила! Широкая рама для романа! Только что я вставляю в эту раму?»

Он мысленно снимал рисунок с домов, замечал выглядывавшие физиономии встречаемых, группировал лица бабушки, дворни.

Все это пока толпилось около Марфеньки. Она была центром картины. Фигура Беловодовой отступила на второй план и стояла одиноко.

Он медленно, машинально шел по улицам, мысленно разрабатывая свой новый материал. Все фигуры становились отчетливо у него в голове, всех он видел их там, как живыми.

«Что, если б на этом сонном, неподвижном фоне да легла бы картина страсти! – мечтал он. – Какая жизнь вдруг хлынула бы в эту раму! Какие краски... Да где взять красок и... страсти тоже!...»

«Страсть! – повторил он очень страстно. – Ах, если б на меня излился ее жгучий зной, сжег бы, пожрал бы артиста, чтоб я слепо утонул в ней и утопил эти свои параллельные взгляды, это пытливое, двойное зрение! Надо, чтоб я не глазами, на чужой коже, а чтоб собственными нервами, костями и мозгом костей вытерпел огонь страсти, и после – желчью, кровью и потом написал картину ее, эту геенну людской жизни. Страсть Софьи... Нет, нет! – холодно думал он. – Она „выше мира и страстей“. Страсть Марфеньки!» – он засмеялся.

Оба образа побледнели, и он печально опустил голову и равнодушно глядел по сторонам.

«Да, из них выйдет роман, – думал он, – роман, пожалуй, верный, но вялый, мелкий, – у одной с аристократическими, у другой с мещанскими подробностями. Там широкая картина холодной дремоты в мраморных саркофагах, с золотыми, шитыми на бархате, гербами на гробах; здесь – картина теплого летнего сна, на зелени, среди цветов, под чистым небом, но все сна, непробудного сна!»

Он пошел поскорее, вспомнив, что у него была цель прогулки, и поглядел вокруг, кого бы спросить, где живет учитель Леонтий Козлов. И никого на улице: ни признака жизни. Наконец он решился войти в один из деревянных домиков.

На крыльце его обдал такой крепкий запах, что он засовался в затруднении, которую из трех бывших там дверей отворить поскорее. За одной послышалось движение, и он вошел в небольшую переднюю.

– Кто там? – с изумлением спросила пожилая женщина, которая держала в объятиях самовар и готовилась нести его, по-видимому, ставить.

– Не можете ли вы мне сказать, где здесь живет учитель Леонтий Козлов? – спросил Райский.

Она с испугом продолжала глядеть на него во все глаза.

– Кто там? – послышался голос из другой комнаты, и в то же время зашаркали туфли и показался человек, лет пятидесяти, в пестром халате, с синим платком в руках.

– Вот учителя какого-то спрашивает! – сказала одурелая баба.

Господин в халате тоже воззрился с удивлением на Райского.

– Какого учителя? Здесь не живет учитель... – говорил он, продолжая с изумлением глядеть на посетителя.

– Извините, я приезжий, только сегодня утром приехал и не знаю никого: я случайно зашел в эту улицу и хотел спросить...

– Не угодно ли пожаловать в комнату? – ласково пригласил хозяин войти.

Райский последовал за ним в маленькую залу, где стояли простые, обитые кожей стулья, такое же канапе и ломберный столик под зеркалом.

– Прошу садиться! – просил он. – Вы какого учителя изволите спрашивать? – продолжал он, когда они сели.

– Леонтия Козлова.

– Есть купец Козлов, торгует в рядах... – задумчиво говорил хозяин.

– Нет, Козлов – учитель древней словесности, – повторил Райский.

– Словесности... нет, не знаю... Вам бы в гимназии спросить – она там на горе...

«Это я и сам знаю», – подумал Райский.

– Извините, – сказал он, – я думал, что всякий его знает, так как он давно в городе.

– Позвольте... не он ли у председателя учит детей? Так он там и живет: бравый такой из себя...

– Нет, нет – этот не бравый! – с усмешкой заметил Райский, уходя.

Вышедши на улицу, он наткнулся на какого-то прохожего и спросил, не знает ли он, где живет учитель Леонтий Козлов.

Тот подумал немного, оглядел с ног до головы Райского, потом отвернулся в сторону, высморкался в пальцы и сказал, указывая в другую сторону:

– Это, должно быть, там, на выезде за мостом: там какой-то учитель живет.

К счастью Райского, прохожий кантонист вслушался в разговор.

– Эх, ты: это садовник! – сказал он.

– Знаю, что садовник, да он учитель, – возразил первый. – К нему господа на выучку ребят присылают...

– Им не его надо, – возразил писарь, глядя на Райского, – пожалуйста за мной! – прибавил он и проворно пошел вперед.

Райский следовал за ним из улицы в улицу, и, наконец, вожатый привел его к тому дому, откуда звонко и дружно раздавались азы.

– Вот школа, вон и учитель сам сидит! – прибавил он, указывая в окно на учителя.

– Да это совсем не то! – с неудовольствием отозвался Райский, бесясь на себя, что забыл дома спросить адрес Козлова.

– А то еще на горе есть гимназия... – сказал кантонист.

– Ну хорошо, спасибо, я найду сам! – поблагодарил Райский и вошел в школу, полагая, что учитель, верно, знает, где живет Леонтий.

Он не ошибся: учитель, загнув в книгу палец, вышел с Райским на улицу и указал, как пройти одну улицу, потом завернуть направо, потом налево.

– Там упретесь в садик, – прибавил он, – тут Козлов и живет.

«Да, долго еще до прогресса! – думал Райский, слушая раздававшиеся ему вслед детские голоса и проходя в пятый раз по одним и тем же улицам и опять не встречая живой

души. – Что за фигуры, что за нравы, какие явления! Все, все годятся в роман: все эти штрихи, оттенки, обстановка – перлы для кисти! Каков-то Леонтий: изменился или все тот же ученый, но недогадливый младенец? Он – тоже находка для художника!»

И вошел в дом.

V

Леонтий принадлежал к породе тех, погруженных в книги и ничего, кроме их, не ведающих ученых, живущих прошлою или идеальною жизнью, жизнью цифр, гипотез, теорий и систем, и не замечающих настоящей, кругом текущей жизни.

Выводится и, кажется, вывелась теперь эта любопытная порода людей на белом свете. Изида сняла вуаль с лица, и жрецы ее, стыдясь, сбросили парики, мантии, длиннополые сюртуки, надели фраки, пальто и вмешались в толпу.

Редко где встретишь теперь небритых, нечесаных ученых, с неподвижным и вечно задумчивым взглядом, с одною, вертящеюся около науки речью, с односторонним, ушедшим в науку умом, иногда и здравым смыслом, неловких, стыдливых, убегающих женщин, глубокомысленных, с забавною рассеянностью и с умильной младенческой простотой, — этих мучеников, рыцарей и жертв науки. И педант науки — теперь стал анахронизмом, потому что его не удивишь никого.

Леонтий принадлежал еще к этой породе, с немногими смягчениями, какие сделало время. Он родился в одном городе с Райским, воспитывался в одном университете.

Глядя на него, еще на ребенка, непременно скажешь, что и ученые, по крайней мере такие, как эта порода, подобно поэтам, тоже — nascuntur.⁷⁸ Всегда, бывало, он с растрепанными волосами, с блуждающими где-то глазами, вечно копающийся в книгах или в тетрадах, как будто у него не было детства, не было нерва — шалить, резвиться.

Потешалась же над ним и молодость. То мазнет его сажей по лицу какой-нибудь шалун, Леонтий не догадается и ходит с пятном целый день, к потехе публики, да еще ему же достанется от надзирателя, зачем выпачкался.

Даст ли ему кто щелчка или дернет за волосы, ущипнет, — он сморщится, и вместо того, чтоб вскочить, броситься и догнать шалуна, он когда-то соберется обернуться и посмотрит рассеянн во все стороны, а тот уж за версту убежал, а он почесывает больное место, опять задумывается, пока новый щелчок или звонок к обеду не выведут его из созерцания.

Съедят ли у него из-под рук завтрак или обед, он не станет производить следствия, а возьмет книгу посерьезнее, чтобы заморить аппетит, или уснет, утомленный голодом.

Промыслить обед, стащить или просто попросить — он был еще менее способен, нежели преследовать похитителей. Зато если ошибкой, невзначай, сам набредет на съестное, чужое ли, свое ли — то непременно, бывало, съест.

⁷⁸ рождаются (лат.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.